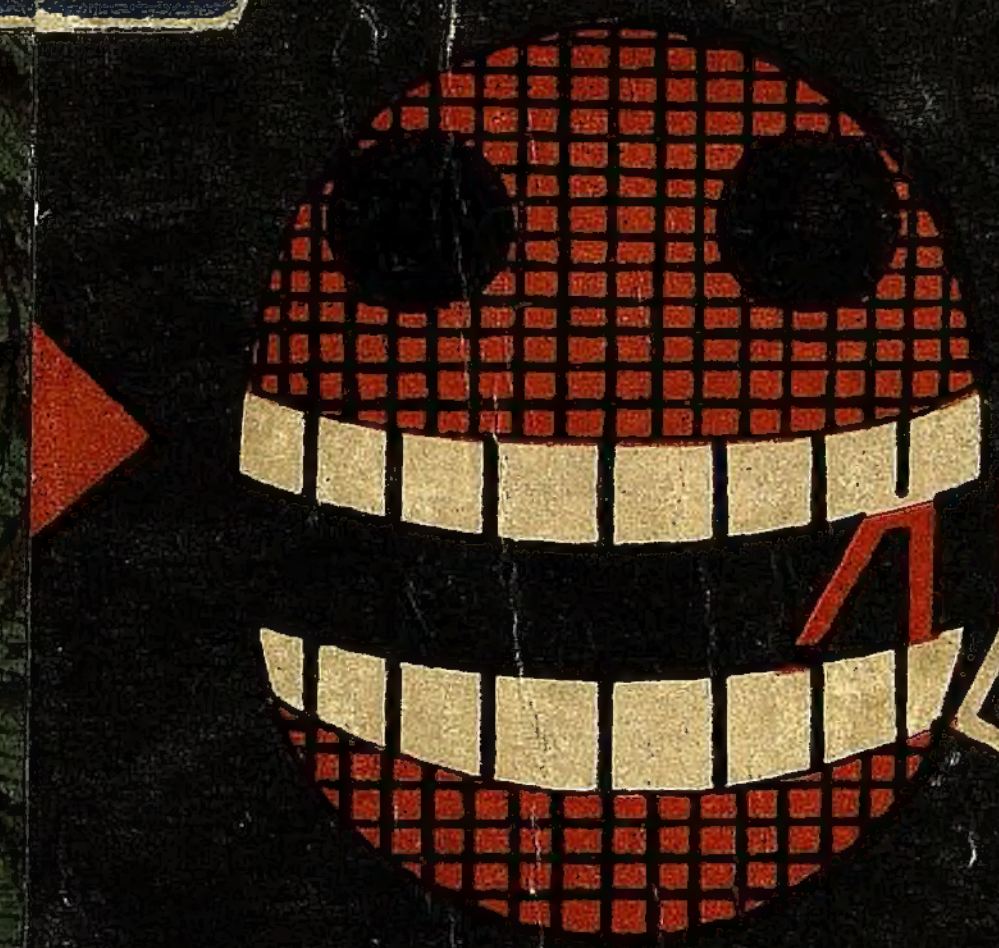
39
Т.8
84.

ЛИК ВОЙНЫ



ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

КИЧ

27

39
84

19

ЧИТАТЕЛЬ!

Просим сообщить Ваш
отзыв об этой книге по адресу:
Москва, Центр, Ильинка, 15.
Информационный Отдел
„З И Ф"

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

С ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИМ ОЧЕРКОМ
Л. АВЕРБАХА И ПОРТРЕТОМ АВТОРА

ТОМ VIII

«ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА»
МОСКВА—ЛЕНИНГРАД

39—84
Э—75

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

ЛИК ВОЙНЫ

19

ДЕВЯТАЯ ТЫСЯЧА

«ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА»
МОСКВА—ЛЕНИНГРАД

Обложка художника Натана Альтман
Отпечатано в типогр. Госиздата
„Красный Пролетарий“
Москва, Пименовская, 16,
в колич. 10.000 экз., 8 л.
Главлит № А—4746
MCMXXVIII

ГОСУД. РОССИЙСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
№ 5534
9-IV-1928 г.
БИБЛИОТЕКА

ЛИК ВОЙНЫ

Смотрите, вы — поэт, уклонный, лицемерный.
Вы нас морочите...

А. Пушкин

В СВОЕЙ АВТОБИОГРАФИИ И. Эренбург пишет: «Октября, которого так долго ждал, как многие, я не узнал»... Это честно сказано. Писатель его не узнал в 1917 г., едва ли в чем подвинулся и посейчас. Великие события революции и предшествующей войны не прояснили горизонтов романиста. Оком интеллигента рассматривает он происходящее вне его, интересуясь больше всего тем, какое это произведет действие в нем самом. Право же, не мешает начать с финала книги, чтобы сразу оценить ее букет. «И, говоря откровенно, наплевать. Je m'en fiche»,—так заканчивает автор. Когда-то в этом видели некий романтизм; сейчас этот обветшалый наряд непригож, как рубище беспризорного.

«Лик войны» — это записки из империалистической бойни. Разрозненные новеллы, объединенные в одну книгу. Заметки сделаны опытною, одаренною рукою. Местами взволнованная художественность захватывает читателя и рождает настроение. Отдельные главы совсем хороши. Окрашенные грустью, они вызывают в памяти скорбные 1915—1916 гг. Эти главы для нас освещены еще некоей экзотикой: сенегальцы, аннамиты, с их примитивизмом и тоскливою участью обреченных, еще больше заостряют печаль. Записная книжка военного корреспондента сближается с кино-фильмою, а отдельные листы записей — с отдельными кадрами. Как здесь, так и там удачное чередуется с неудачным и много лишнего. Если бы автор вырезал и почистил свои заметки раньше, чем их компановать в томик «Лик войны», книга выиграла бы несомненно, потому что в ней имеются неоспоримо-интересные страницы. Война создается из исторических решений и ткется из мелочей обихода. Первое—пружина войны, движущие ее силы — этого не дано понять Эренбургу. Он тщится философствовать о жестокости машин, видя в их роковой бездушности чуть ли не

историческую судьбу. «Говорят, что всеми нами управляют всесильные люди—Вильгельм, Ллойд Джордж, Жоффр, дипломаты, владельцы орудийных заводов, полководцы, биржевик. Если бы это было так... ведь они все же люди, и у них у всех под левым карманом жилета бьется одинаковое сердце»... Вступающий у нас в пионерский отряд малыш, еще раньше чем он научился владеть носовым платком, тонко улыбнется на невзыскательную болтовню об «одинаковом сердце». Нет, в этой части Эренбург наивен. Зато в сфере военно-бытовых записей он мастерски ловок. Мелкие штрихи складывает в рисунок и пестрые нити сплетает в ткань. Эренбург острым глазом замечает здесь и там след, и пустую лачугу, и трепет руки. Из незначащих пустяков рождается жанр, намек вызывает образ, мелькнувшая тень—острое переживание. У Эренбурга путь художника. Напрасно он представил свои записки как «дурные любительские фотографии». Это скорее этюды к художественной завершенности. Но только для этой последней надо понимать сущее, а Эренбург не понимает. Он не постиг нашей действительности, ни революции, как не понимал движущих сил империалистической войны. Только любитель «сомнительного резонерства» мог написать такое предисловие «от автора». Эренбург не понимает различия между войной империалистической, войною гражданской, войнами революционными. Он не искушен в диалектике. Для него всякая война попрана филистерскою моралью «молодого филолога»... «Я не могу убивать. Это грех. Против кого, против чего?»... Это свое роковое непонимание автор сугубо подчеркивает в главе «Трусость и храбрость». Надо же понять, что дезертирство из рядов буржуазных дивизий это доблесть, а измена в полках Красной армии—самый похабный позор. А Эренбург описывает нам набившие оскомину «немецкие зверства». Право же, это наивно.

Книга «Лик войны»—это записки корреспондента. Переплетенные в одну обложку разрозненные впечатления. Не больше. С этого угла зрения они никак не могут итти в сравнение ни с пламенными строками А. Барбюса («В огне»), ни с монументальными полотнами Л. Войтоловского («По следам войны»). Барбюс и Войтоловский вооружены пониманием классовых отношений. Потому их записи спаяны воедино, обрамлены целостностью, завершенностью. Солдаты, офицеры, снаряжение, стратегический план, жестокость, бестолочь там перевиты взаимодействием и органически слиты в единую композицию. Наоборот, у Эренбурга

отдельные элементы войны разъяты, как плоскости на полотнах Пабло Пикассо. Не зря же сам автор видит в «странных планах войны» сходство с мистическими рисунками названного художника. Но Пикассо кубистского периода—а именно этот период привлекает Эренбург — художник распада, геометрического схематизма, полного скепсиса. Такое настроение было понятно накануне эпохи войны и революций в обстановке политического и культурного застоя. Но сейчас смаковать предвоенные настроения — это значит твердить зады, плестись в хвосте давнишне-мещанских переживаний.

Мы отметили несомненный дар автора книги в изображении отдельных черт батального быта. Но и здесь поражает зияющая прореха: в книге о войне не нашлось совсем места отображению офицерско-солдатских отношений. Если ограничиться записками Эренбурга, то должно сложиться впечатление, будто командный состав антантовских армий—ангелоподобные, бесплотные существа. Их нет! Солдаты их совсем не чувствуют. А для вящшей убедительности сам Эренбург торжественно вводит нас в ослепительный вагон-ресторан, где рядом восседают «все вместе за столиками—от дивизионного генерала до нашего кашевара Булу»... Подумаешь, какая буколическая трогательность! А почему писатель нам не рассказал, как этот самый дивизионный генерал вел себя на заседании военно-полевого суда. В своей автобиографии Эренбург пишет: «Мне кажется что сделать вещь честно — хорошо». Мы тоже так думаем. Но в таком случае зачем клеветать? Зачем передавать каламбур, будто «под словом совет сенегальцы понимали отпуск на родину»...

Зачем глава «Религия» открывается сомнительным сообщением о распределении икон в рабочем батальоне?..

Углубленный в свои ограниченные собою переживания, индивидуалист Эренбург носится из страны в страну, одинокий, обещающий и скептический. Каков его путь? Чего в нем больше: наивности или цинизма, скепсиса или самообмана?..

ОТ АВТОРА

ЭТА КНИГА написана давно (большинство записей сделаны в 1915—1916 гг.). Написана она плохо: в ней много невзыскательного лиризма и сомнительного резонерства. Но не следует видеть в ней «искусство». Это отчет современника. Дурная живопись непереносима. Дурные «любительские» фотографии могут пригодиться, тем более когда это—съемки злых дел и темных мест.

Я переиздаю эту книгу, потому что среди дурных художественных эффектов читатель найдет в ней знакомые черты сошедшей с ума Европы.

Я переиздаю эту книгу также потому, что у людей плохая память. Меня принято ругать «циником». Люди не любят, чтобы им напоминали об их подлости, глупости, трусости. А с того знойного душного дня прошло десять лет. «Война?» «Нет! Расскажите нам о чем-нибудь новом, хотя бы о гробнице фараона»...

Конечно, я «циник»! Ведь люди не любят также, чтобы им говорили: завтра вы сделаете то же самое. Вы способны на любую подлость и на любую глупость.

«Нет! Ведь та война была последней». Гляжу сейчас в окно. Маршируют немецкие бойскауты. Они поют: «Германия превыше всего». Старший кричит: «будьте готовы» и младшие отвечают ему: «всегда готовы». Дорогие читательницы «Задушевного слова», во всех частях света, скажите, встречали ли вы молодых людей, которые поют эти весьма однообразные песни и готовы ли они?..

Готовы! «Всегда готовы!» Готовы на новый знойный душный день. Ведь прошло уже десять лет...

Когда я писал эту книгу, я был весьма молод и наивен. Я глядел на различные породы деревьев и слишком много думал о «душе» человека. Вероятно, лучше было бы глядеть на копи Лотарингии и думать о столкновении нефтяных трестов. Жизнь меня многому научила. Я узнал об угле Рура и о месопотамской нефти. Я узнал об интернационализме и об империализме. Узнав все это,

я не утешился. Я видел, как радовались английские рабочие развалу германской индустрии. И меня ничуть не удивил Макдональд, когда он начал строить новые дредноуты. Что же, он тоже «готов».

Разумеется, лозунги меняются. Я удивляюсь, почему все коллекционируют почтовые марки, почему никто не занялся собиранием этих лозунгов. Подумайте—какое разнообразие! Здесь вы обязательно найдете и «За интернационал!» и «Долой войну!» и неподражаемый лозунг «Война войне». Нет, за лозунгами дело не станет!

Север Франции
1914—1924

Ипр. Ланс. Суасонэ. Истерзанная земля хранит свои незалеченные болячки, как паршивая собака. Поля не засеяны. Дома не отстроены. В жалких бараках, в мокрых землянках до сих пор ютятся жители погибших сел и городков. Недавно состоялось в некотором роде юбилейное трехсотпятидесятое заседание репарационной комиссии.

Министерство изящных искусств тщательно обсуждает проекты домов в строго национальном стиле.

Отчеты о хищениях крупных подрядчиков идут в газетах вместо уголовных романов: экономия на авторских гонорарах.

Крестьянам предоставляется дрожать в землянках. Однако, в порядке возвеличения чистого идеализма, спешу заверить, что со дня подписания перемирия и по ноябрь 1923 г. во Франции воздвигнут 6831 памятник героям войны.

Пусть фабрики не отстроены. Открылся новый вид доходов. В учебниках географии следует отметить: департаменты Нор, Эн, Мез и др., торговавшие прежде батистом, мылом и вином, торгуют теперь предпочтительно патриотизмом. Это очень выгодная торговля. В Париже и в Брюсселе до сих пор функционируют бюро экскурсий на поля битв. Весной в пригожий денек целые табуны раскормленных боков и задов, снабженных головами лишь по необходимости — вроде как паспортами, в комфортабельных «фордах» отбывают к Вердену или к Ипру. Среди развалин уже построены шикарные бары и рестораны.

— Знаменитый Морт-Ом! Здесь погибло свыше сорока тысяч человек,—выкрикивает добросовестный гид. И зады любопытно ново-

рачиваются: сорок тысяч! Это что-нибудь да значит, ради этого стоит повернуться. Хорошо бы именно отсюда послать карт-посталь...

По паршивой земле ползают инвалиды—куски мяса, без рук, без ног, часто без глаз, лица, обожженные горящей жидкостью или полуудушенные газами. Они продают открытки с видами тех мест, где оставили свои руки, ноги или глаза. Но задам жарко. И, отгоняя калек, гарсон кафе приносит ледяные коктайли.

Потом — кладбища. Их тоже посещают. Чорт возьми, это же импозантно—6 000 крестов, выстроенных в правильные ряды! Это же почти как Юнгфрау или как океан.

Кости неизвестных солдат выкопаны и вновь зарыты посреди площади Этуаль в Париже и площади Конгресса в Брюсселе. Делегации. Флаги. Венки. Сегодня «О-во лавочников Венсена», завтра военный атташе Уругвая, послезавтра сам г. Пуанкаре. Здесь столько пошлости, что она становится великолепной. В Брюсселе, например, к этим костям провели газовые трубы. Неугасимая лампада. Что вы хотите: лавочники Венсена в душе поэты.

Что касается буколических англичан, то они занимаются главным образом постановкой памятников лошадям убитых на войне.

Брюссель. Кавалькада автомобилей. В них самые страшные из инвалидов: не лица — плохо зарубцевавшиеся куски мяса. Светские дамы с кружечками щебечут. Все это, конечно, весьма обыкновенно. Но, погодите! На автомобилях большие плакаты:

«Пейте Тоник-Кампи!»

«Курите папиросы Мисс!»

«Лучшее мыло Кадум!»

Пусть покатаются! Это реклама чего-нибудь да стоит.

Это даже не жестокость. Это попросту быт. Возле Вердена гид восклицает:

— Внимание! До восемнадцати тысяч черепов! Кости защитников форта Домон!

Подходит любопытный.

— А почему это не пахнет?...

— О, господин, все прекрасно оборудовано. И потом... уж прошло четыре года.

Вот и все. Когда-то нас удивлял крестьянин Золя, наспех перепахивающий поле битвы. Как же он вял по сравнению с европейским торгашом, который готов торговать черепами!

«Восемнадцать тысяч! Прекрасно оборудовано!»

«Курите папиросы «Мисс»!

«Слава героям!»

«Билет на экскурсию — десять франков с завтраком!»

«Справедливость победила!»

«Мыло Кадум! Не забудьте только Кадум! Остальное подделки!»

Итак, все в порядке. Можно начинать сызнова. Достаточно осталось неразрушенных городов и непокалеченных людей.

В Англии, конечно, рабочее правительство. Контрольные пакеты акций различных немецких предприятий перешли к французам. Только та затасканная «душа человека», о которой я слишком много думал десять лет тому назад, осталась той же. Впрочем, ей очень много лет, даже тысячелетий, этой «душе».

Значит, мне незачем спрашивать тебя, читатель, — готов ли ты? Кто б ты ни был, я знаю — готов. «Всегда готов!»

Илья Эренбург

Берлин
13 мая 1924

ЛИК ВОЙНЫ

I

ОБЫКНОВЕННО на вопрос — что видно на войне? — отвечают: «ничего». Мне кажется, что это не совсем точно — на войне видно «ничто», пустота, небытие. Бурая, нагая земля, правильные ряды неживой проволоки, тонкие линии, расчерченные, будто на плане, окопов. Ни деревца, ни былинки—все вырвано, расщеплено, обращено в прах. Где-то в норах люди, но их не видно: ничто живое, движущееся, дышащее не может показаться, не смеет ступить на эту обреченную землю. Человек, еще живой и трепетный, переживает свой посмертный час.

II

Как красочна и занимательна война на картинах старых баталистов Франции или Голландии! Вздыбленные кони, бьющиеся по ветру знамена, клубы дыма — барабанщик бьет призыв, у полководца гордое лицо и величественный взмах руки, солдаты в изумрудных или малиновых мундирах бегут к победе. Война, похожая на детскую забаву или на старомодную оперу!

Часто, идя по размытым дождем окопам, глядя на серых солдат, на пушки и пулеметы, я думал: найдется ли художник, который сможет передать облик этой войны? Теперь передо мной собрание «военных» рисунков Леже. Странные, таинственные рисунки. Да, я этого не видел никогда, но это, только это, я и видел. Леже — «кубист»;

порой он чрезмерно схематичен, порой страшит бесконечным раздроблением всего зримого мира, но распятый, искромсанный жестоким ножом и где-то в последнем создании воссоединенный, глядит на меня лик войны. В этих рисунках нет ничего личного, отдельного, как нет на войне Жана, Карла, немцев, или французов, но все мы, только человечество и человек. А может быть, и нет человека, ведь все рисунки говорят об единственной госпоже машине. Солдаты в касках, крупы лошадей, трубы походных кухонь, колеса орудий—все это лишь отдельные части великого механизма. Нет красок: все на войне теряет свой цвет от пушек до лиц солдат, уподобляясь пыли. Прямые линии, правильные плоскости, рисунки, похожие на чертежи,—отсутствие произвольного, капризного, увлекательного, неправильного. На войне нет места прихоти. Хорошо оборудованный завод для истребления человечества.

III

Говорят, что всеми нами управляют всесильные люди—Вильгельм, Ллойд Джордж, Жоффр, дипломаты, владельцы орудийных заводов, полководцы, биржевик. Если бы это было так?.. Ведь они все же люди, и у них у всех под левым карманом жилета бьется одинаковое сердце, и все ребятами играли, и все знают тоску, и все умрут. Нет, не люди ведут войну. Сегодня я видал наших истинных повелителей. Под вечер ехал я по шоссе близ Арраса. Кругом плоская, скудная земля Артуа, и много прямых, белых дорог. По ним двигались бесконечной цепью один за другим тяжелые грузовики. Одни везли солдат «туда», другие раненых «оттуда», на третьих были орудия, снаряды, мясные туши, хлеб. На перекрестках они ждали взмаха флажка солдата—маленького церемониймейстера. У каждого свой герб—дракон, змея, птица,—свое имя и свой

номер. У солдат тоже есть имя, и у каждого на руке браслетик с номером, чтобы можно было опознать труп. Но солдаты — только белные слуги великих грузовиков. Они будут бегать у орудий и дергать за веревочку, вставлять пулеметные ленты и нажимать курки у винтовок. Они будут служит машине и кормить ее собой. Я глядел час, другой, а грузовики все ползли, и сотни людей беспрерывно исправляли дороги, не выдерживающие державного шага. Грузовики чернели на розовом вечернем небе. Мне хотелось пасть ниц перед теми, кто правит,— и Вильгельмом, и бедным сенегальцем.

IV

Увидав первый танк, я смутился—было в нем что-то величественное и омерзительное. Быть может, когда-то на земле существовали такие исполинские насекомые. Он был (для маскировки) пестро расписан, и его бока походили на футуристические картины. Он полз очень медленно, переступая, как гусеница, через окопы и ямы, сметая проволоку и кусты. Чуть шевелились усы—трехдюймовые орудия и пулеметы. Сочетание архаического и ультраамериканского, ноева ковчега и автобуса XXI века. Внутри люди—двенадцать пигмеев, которые наивно думают, что они им управляют.

V

Сотни художников расписывают пушки и грузовики, изготовляют цветные ковры, которыми застилают батареи, прикрывают ветвями или холстом дорогу. Вот искусственное дерево, пустое внутри, вот изображение издохшей лошади. Ночью, впереди наших позиций, ими подменят настоящую березу и конский труп, в них будут наблюдательные пункты. Сначала все красили в бурый, защитный

цвет, но очертания грузовиков все же выделялись. Теперь художники (из молодых) разбивают стену на отдельные яркие куски, благодаря чему теряется абрис всей массы. Издали видны бесформенные пятна. Каждый день придумывают все новые ухищрения, приспособляясь к желтизне пикардской глины, к мелу Шампани, к зелени Аргонских лесов. Быть незаметным, врасти в землю или, вернее, обрасти ею—вот единственная цель этого странного маскарада, где за малейшую оплошность в костюме приходится платить жизнью. Люди походят на насекомых, которые живут в земле и, на минуту показываясь наружу, принимают ее облик.

А недалеко от мастерской маскировки, в другом здании, сидят люди с лупами и расшифровывают странные планы, похожие на рисунки Пикассо. Это—фотографии, снятые с аэропланов. Зоркие птицы снуют над прячущимися насекомыми, изобличают их. Вот опытный глаз разыскал тонкую линию окопа, вот отметил черную точку—не батарея ли?.. Сличают сотни карточек, выслеживая каждое подозрительное пятнышко. И еще глубже прячутся бедные люди, и еще незаметнее—серее, без знамен и без барабанов, с затянутыми материей пуговицами, с приспущенными огнями—проходит по земле героиня маскарада.

VI

В туманном Кале идет работа исступленная, неустанная. Днем и ночью бьется это сердце войны. Вот пекарня—двести тысяч хлебов для армии каждый день выходит из гигантских печей. Вот сапожная мастерская—старые сапоги, изодранные на фронте, здесь обновляются, перекраиваются. А вот завод ручных гранат. Грандиозные склады—сотни пароходов подвозят сюда муку из Канады,

цейлонский чай, зеландский сыр и людей,—очередную трапезу войны. Магазины снабжения, в которых все—от тяжелого орудия до маленького зеркальца, от аппаратов, измеряющих скорость ядовитых газов, до почтовой бумаги с незабудками. Две тысячи триста отдельных частей автомобилей различных систем, которые выписываются по номерам. Заказы № 617 для танка крупного калибра в N армию, руль 1301 мотоциклетке в штаб N дивизии. Тысячи рабочих собраны в эти мастерские и магазины. Перекиньтесь по ту сторону Ла-Манша или поезжайте в Лион, в Шербург, в Сант-Этьен—на заводы орудий, снарядов, грузовиков, аэропланов—вы всюду найдете неистовое пламя печей, рев и скрежет машин, потные, задымленные лица рабочих. Бои—лишь итоги этой работы, победы—лишь подсчет отлитых снарядов и доставленных баранов. Знамена, награды, рассказы о героизме—это голоса былого, война в них припоминает свою юность. Теперь она переменила пращу Давида на длинные каталоги складов Кале и Булони.

VII

Мы долго идем. Кажется, уже три часа. Мы прошли больше десяти километров. По карте мы знаем—здесь была деревня, там другая. Но даже камней не осталось, они обращены в пыль. Сейчас, в весеннее майское утро, не видно ни одного кустика, ни одной былинки. Земля, истерзанная, искромсанная,—мертва... Даже холмы изменили свои очертания, даже быстрая Анкра потеряла свое русло и растеклась по гигантским дырам и рвам. Бурая глина испещрена ямами, налитыми мутной водой дождей и похожими на гнойники. Страшные посевы взошли на этих полях брани—среди ржавых проволок, поломанных винтовок, осколков снарядов; на каждом шагу выползают из

земли человеческие останки: то рыжие разбухшие сапоги, то черепа в касках.

Перед нами торчат два черепа в касках, один в плоской—англичанин, другой—немец. Недавние враги, они как будто усмехаются одной и той же усмешкой нечеловека—черепа. Мы останавливаемся, переглядываемся, кажется тоже усмехаемся. Вдруг из ямы выскакивает живое существо—обыкновенная кошка. С визгом она бросается на нас, но, испугавшись палки, убегает. На фронте встречаются одичавшие кошки. Говорят, они питаются трупами. А черепа все смеются...

Мой спутник—английский офицер с голубыми, детскими глазами, длинноногий и тихий. Всю дорогу он молчал. Кажется, он всегда молчит. Но сейчас, не то после черепов, не то после кошки, он вдруг начинает петь, фальшивя, с комичным английским акцентом, старую песенку:

Quand les lilas refleuriront
Dans ses vallées nous reviendrons...

И шагает через трупы. Смеется ли он надо мной? Или серая, взлохмаченная кошка ему действительно напомнила о том, что когда-нибудь и здесь зацветут кусты пахучей сирени?

VIII

На берегу Соммы лежат два скелета: человека и лошади. Три месяца тому назад здесь шли бои, но ветры и дожди уж обнажили, омыли белые кости. На человеке—каска, кожаный пояс, сапоги. На лошади—сбруя, седло. Это—все, что осталось.

IX

Глаз может забыть зрелище войны, трупы и скелеты, куски мяса, пустыню, кладбища. Ухо может забыть ее звуки, грохот тяжелых снарядов, мяуканье и визг мелких,

треск гранат, дробный стук пулеметов, рев солдат, идущих в штыки, стон оставленных перед линиями раненых. Но если исчезнут образы, если замолкнут голоса, все же останется в памяти неистребимый, преследующий до последнего часа, запах войны. Горелая земля, человеческие испражнения и выползающие из земли трупы издают в душный июльский день сладковатый отвратительный запах—его не забыть.

ВОЙНА И ЖИЗНЬ

I

Это было второго августа в день объявления войны. Пробираясь из Голландии в Париж, я должен был пешком перейти французскую границу. Светало. Мы шли полями, меж золотой тяжелой пшеницы. Пели жаворонки. Мои спутники, призванные мобилизацией французы, молчали. По пустой дороге прошли коровы и жалобно зазвенел бубенец. Вдали показался часовой. Зачем-то он выстрелил в воздух, и этот резкий сухой звук был нов среди мирной тишины деревенского утра. Солдаты запели «Марсельезу». Начались баснословные рассказы о первых битвах, о тысячах убитых, то испуганные, то хвастливые. Навстречу прошли беженцы-немцы с ребятишками, с узлами, спешившие убежать из Франции.

— Eh, ben! c'est la guérre!—сказал задумчиво часовой.

В последний раз я оглянулся назад на белую дорогу, наклоняющиеся к земле хлеба, на далекий дымок деревушки. Я не знал тогда, что через несколько дней снаряды сожгут эту ферму и конница вытопчет эти поля. Я не знал, что война—ни на месяц и ни на год, что это ясное утро—рубеж между эпохами и что прежних дней, легких и беспечных, больше не будет.

II

В нашем «Телятнике» жарко. Человек тридцать зуавов. Они все время пьют красное вино. Каждые четверть часа навстречу нам ползет воинский поезд—солдаты, высунувшись

из вагонов, что-то кричат. На станциях толпы уезжающих. Проводы. Нашим зуавам подают все новые бутылки. Мы ползем тихо, и паровоз заунывно стонет. На перронах, на насыпях, у шлагбаумов стоят заплаканные женщины и машут платочками. Кто-то написал мелом на нашем вагоне: «Train de plaisir pour Berlin», но никому не весело. Пьют и поют: «Мариетта, Мариетта»... Ошалевшие от вина, от жары, от крика, не знают, не думают, не помнят. Война? Берлин? Смерть?.. Чорт возьми, еще литр! Только бы не думать. «Мариетта! Маленькая Мариетта!»... А злое, беспощадное солнце льет тяжелый зной.

В Париже смятение. Весь город на вокзалах. Бумажные флаги и бравурные песни, и шутки через силу, и слезы. Закрыты магазины. В восемь запирают кафе. Кто еще может торговать, работать, веселиться? Вот плачет старушка мать: «Обоих, обоих...»

Из-за угла внезапно выходит батальон. Куда? Конечно, туда, на восток. Еще не кровь на штыках, только яркие астры. «Allons enfants de la Patrie». Кто-то в подъезде стонет: «Луи, мой Луи». Кричат газетчики: «Победа». Жизнь кончилась, и все, что было «до»,—далеко позади. Я спрашиваю товарища художника, который завтра уезжает в Бельфор: «Где вы оставляете ваши работы?» Он глядит на меня далекими, невидящими глазами: «Работы? Да не все ли равно»...

Это—было, а все, что было, теперь кажется ненужным и смешным. Может быть, мы не жили раньше? А может быть, не живем теперь? «Убейте, убейте!».. На углу молоденький офицер прощается с женщиной в черном. Она долго, безнадежно его обнимает. Я слышу его слова, восторженные и нежные:

— Какая радость!..

Ночь.

III

Те, что остались, первые недели жили особенной жизнью. Всем казалось, что они не то на вокзале ждут невидимого поезда, не то над изголовьем,—выживет? Умрет? Томились—от утренних телеграмм до вечерних. Забросили обычные дела, писали письма, втыкали флажки в карты и ждали, ждали... Когда появились первые раненые — увидев их, прохожие останавливались. Прерванный спор. Недосказанная шутка. Ночью тревожно дремали, как будто прислушиваясь к раскатам грома, доходившим «оттуда». Стояли жаркие, душные дни. Как всегда, всходило и заходило солнце. Шли быстрые недели. Но люди тосковали.

Как это случилось? Как катастрофа стала обычным состоянием, смерть незаметной, убийство повседневным делом, война буднями? День за днем опадают листья и тает снег, но люди вдруг замечают оттаявшую землю или обнаженный сад. День за днем привыкали к войне, а привыкнув, изумлялись. Война? Да, да, но пора на службу, сегодня надо составить прелюбопытный доклад. Гастона убили? Какой ужас!.. А мы сегодня идем в «Буфф» на новое обозрение. Вернулись к обычным делам, к старым забавам. Правда, все было слегка отравлено дуновением ветерка, долетавшего с Марны или с Эн; правда, что-то навеки умерло второго августа во всех сердцах. Но быстро отстоялся новый быт, «военный», с правильно распределенными днями, со своими заботами и утехами. Жизнь победила.

IV

Одни ушли, другие остались. Одни ее видели, другие о ней читали в газете. Одни никогда не поймут других.

Конечно, солдаты, возвращаясь в отпуск, возмущаются и внешним обликом тыла. Порой с ненавистью глядят они

на кафе, где, как и прежде, в пять часов люди мирно тянут через соломинки «аперитив», на театры и на сады, на фланирующую толпу, на все, что после окопов кажется не то раем, не то самой гнусной и хитрой выдумкой дьявола. Но больше всего их поражают близкие и родные. Близкие?—нет, безумно далекие... О чем говорить? Они ее не видели. Быть может, мы ослепли; быть может, слепы они.

Маленькая ферма на юге Франции. Солдат только что приехал в отпуск. Поужинали. Он рассказывает о войне. Мать, жена, сестры в ужасе слушают, прерывая самые страшные места криками: «О!» Потом начинают говорить они:

— Что ж, пожаловаться не можем—виноград в этом году хороший. Кроликов мы продаем теперь в Грасс по три франка за штуку. Знаешь, у мадам Софи родилась дочка, а Жюльетта связалась с этим долговязым Жаном.

У них свои дела, своя жизнь. Еще недавно это было и его жизью. Он хочет сказать им о новом, все заслонившем. Снова рассказывает. Снова женщины вздыхают: «О-о!» Потом усталые—за день наработались—начинают зевать. Что ж, пора спать! Завтра надо ехать в Грасс продавать помидоры. Солдат томится. Он не сказал им чего-то самого, самого главного, самого важного. Жена его нежно обнимает:

— Мой маленький, идем спать...

Он отводит ее руку и глухо, отрывисто говорит:

— Война—ты еще не знаешь, что это... и это... это воняет...

V

Сегодня утром я еще шагал по бурому полю, изрытому снарядами, и слушал грохот наших батарей. Утром я еще интересовался только тем, где готовится атака: у 304, или

у Морт-Ома, и как лучше добраться до поста, не попав под обстрел. Утром еще душой и телом я был там. Сейчас я в Париже. Я сижу на террасе кафе с провинциальным названием «Closerie de lilas». На голубой, омытой дождем площади дрожат отсветы фонарей. Бесшумно, как летучая мышь, пролетает автомобиль. Проходят две девушки, стройные, в синих узких костюмах. Я не вижу их лиц, но слышу запах духов. Со мной художница француженка. Она говорить о Рейхсбруке-Удивительном, еще о чем-то...

Я прерываю ее, показываю на чуть розовеющее небо,— на яркую зелень платанов, на фонари, на силуэты девушек. Как хорошо!.. И вдруг неожиданно—я сначала не понимаю, что это—поднимается во мне новое чувство. Я вспоминаю все, что осталось там, и не радуюсь, но жалею. Вдруг и люди, и небо, и Париж, и наша беседа мне начинают казаться невыразимо пресными, скучными. Жизнь? Да, но она только там! Я перестаю видеть, слышать, я замыкаюсь, ухожу. Со мной теперь нельзя говорить. Здесь едят, спорят, читают, спят, но жить здесь не могут. Только на глазах у смерти, прячась от снарядов, изнывая от грязи, томясь и маясь, не здесь, только там можно узнать всю радость жизни.

VI

Солдат, вернувшихся с фронта, даже если они в пиджаках и котелках, легко распознать. Они были «там»—об этом говорят какая-то особенная угловатость, прорывающиеся из-под маски современного культурного парижанина ухватки первобытного, возвращенного к стихии человека, новые слова—целый язык войны, наконец внезапное молчание и задумчивость.

Они возвращаются какими-то рассеянными. Потом привыкают, входят вновь в былое русло. На моей улице дамский парикмахер Виктор, драгун, изрубивший верно немало немцев, теперь вновь с щипцами в руке рассыпает неизбежные в его деле комплименты. Поэт Л. управлял аппаратом с удушливыми газами; теперь его освободили, он собирает коллекцию фарфоровых пастушек и пишет стихи о садах Версаля. Еще кто-то кого-то убивает, но они вышли из игры. А игра такая, что лучше как можно скорей забыть о ней. Иначе слишком трудно жить.

VII

Вчера я был в гостях у приятеля, художника Л. Он провел два года на фронте. Говорили о живописи, о балете Дягилева, о новой книге Клоделя. Войны нет, никогда не было. Принесли закуску. Жена Л. попросила открыть банку с консервами. Л. вздрогнул и замолчал. Больше он не проронил ни одного слова, угрюмый и сосредоточенный, явно не слыша наших споров. А прощаясь со мной, умехнулся:

— Знаете, вот раз мы вернулись с атаки, так я штыком консервы открыл. А штык был в крови. Ничего, съели. Вот разное и вспомнилось...

VIII

Мой сосед по комнате—серб. Он проделал отступление через Албанию. Над беженцами сновали австрийские аэропланы, опускаясь и сбрасывая бомбы. Осколком его ранило в голову. В Сан-Жан-де-Медуа он с тремя тысячами сербов сидел девять дней без корки хлеба, ожидая парохода. Наконец, по дороге в Италию транспорт, на котором он ехал, был потоплен. Несколько часов продержался он

на доске. Спасся. Его брат убит на войне. Болгары повесили его отца и угнали неизвестно куда мать и обеих сестер. Ему двадцать три года. Он не убит, не умер с голода, не потонул и не сошел с ума. Значит, он живет.

Я не знаю, как он старается жить. Он поступил в Сорбонну, изучает французскую литературу, ухаживает за какой-то студенткой и даже занимается гимнастикой. О войне он никогда не говорит и если рассказывает о Сербии, то только о вещах мирных и далеких—о рождественском поросенке или о милых грязных кофейнях Крагуеваца. Наверно профессора и студенты принимают его за самого обыкновенного милого и старательного юношу.

Этой ночью он постучался ко мне.

— Вы не спите? Я посижу у вас. Я не могу быть один. Это теперь часто со мной. Я тогда иду на угол бульвара, там всю ночь стоят извозчики. Послушайте, мне противно все. У. сегодня дала мне ландыши. Они отвратительны. Я сейчас растоптал их. Я читал вечером Анатоля Франса. Послушайте, как вы живете? В Сан-Жане мальчишка был, есть хотел, у нас—ничего, так он руку свою кусать начал. Визжал, звал мать—«Майка». Сказали, сошел с ума. А товарищ мой землю ел. Умер. Нет, нет, я больше не буду. Это скучно—вы уже читали в газетах...

IX

Возле Армантьера на фабрике шла работа. Показались немецкие гусары. Стреляли. Работницы оставались у станков. Сейчас снаряд может попасть в здание. И потом, кому теперь нужен этот тонкий батист? Все равно—наше дело работать. Германский офицер:

— Убирайтесь все! Вас могут убить здесь.

Но работницы дружным хором:

— Мы уйдем как всегда—в шесть часов.

Когда началась эвакуация Вердена, жителям окрестных деревень приказали покинуть родные места. До этого дня они оставались под обстрелом; рискуя жизнью, они продолжали свои обычные дела.

Но, услышав приказ, возмутились:

— Не хотим ехать.

— Да ведь вы погибнете здесь вместе с вашими фермами.

— Когда еще... а пока картошку копать надо, не время теперь уезжать.

В Пикардии я видел старого мельника. У самой мельницы стояла английская батарея. Мельник как будто не замечал ни работы артиллеристов, ни немецких снарядов, разрывавшихся в ста шагах от него. Он заботился только о том, чтобы солдаты не вытирали рук о чистые мешки. Он интересовался только тем, когда снова можно будет пустить мельницу.

X

Ипр. Просторная площадь перед разрушенными сводами рынка. Случайно уцелевшая статуя средневековой дамы попрежнему задумчиво улыбается среди зияющих дыр и обгорелых сводов. Каждые пять минут тяжелый снаряд с рокотом и гулом падает на мертвый город. Жителей давно нет, а солдаты прячутся в погребах и землянках. Но по средине площади, рассматривая развалины, мирно беседуют два английских солдата.

— Эти рынки и здания суда в Руане—лучшие образцы гражданского зодчества готики.

— О, да! Я очень рад, что попал в Ипр. Надеюсь, что удастся побывать и в Руане.

Рвется снаряд, но они, не шелохнувшись, что-то записывают в свои книжечки.

В Амьене только что прибывшие с позиций шотландские стрелки разглядывают какой-то памятник.

— Скажите пожалуйста, кому он поставлен?

Француз солдат в удивлении даже отплевывается:

— А кто его знает? Стоит.

Англичане спрашивают:

— А как пройти в собор? А когда его можно осматривать?

Идут, шагая под холодным колючим дождем. Француз недоумевает:

— Чудной народ! Другие вернутся, в кафе пойдут, к девицам. А эти—прямо или в собор или в музей. Станут у дверей и стрекочут. Ну, что тут занятного?

Теперь, если я снова увижу у ворот флорентийского баптистерия или в залах Лувра табуны англичан—чрезмерно любопытных, с красненькими Бедекерами,—я вспомню этих «туристов» и постараюсь не сердиться.

XI

Иногда смерть отступает перед самыми обычными делами. «Всевластная», она робеет перед привычкой или будничной заботой, почти перед анекдотом.

В окоп кинули камень с запиской:

«Сегодня в полночь я перебегу к вам. Не стреляйте. Я эльзасец».

Прибежал. Немцы открыли по нему огонь. Мокрый, переполз через канал. Еле спасся, дрожал, слова не мог вымолвить. Французский офицер велел дать ему рюмку рома. Перебежчик завопил:

— Нет, нет. Я член Кольмарского общества трезвости. У нас прекрасное общество: две читальни, столовая... и еще четыре отделения.

Когда Верден был поспешно очищен от населения, в нем остался только старый сторож мерии. Немцы слали в город 350-м. снаряды. Знаете, чем занимался в эти дни сторож? Он расклеивал на стене мерии объявления о свадьбах, которые по закону должны быть вывешены за две недели до венчания. Те, что дали объявления, давно убежали. В городе одни солдаты, выходить из погребов опасно, но сторож знает только свое дело.

В маленьких французских городках существует особая профессия «оглашателей». Потеряет кто-нибудь кошелек или сбежит собака, «оглашатель» ходит по улицам, бьет в барабан и сообщает о пропаже. Недавно я был в Компьене. На город падали снаряды. По пустым, вымершим улицам спокойно шествовал старичок с барабаном и выкрикивал:

— Госпожа Лебрюн потеряла золотую брошку с тремя изумрудами. Вернувшему будет выдано пятьсот франков.

XII

Поля Марнской битвы. Два года прошло, и старые раны не зажили, но затянулись. Время уже коснулось истерзанной земли. Кое-где в деревнях сиротливо глядят— разрушенная ферма, подбитая колокольня, сгоревший амбар. На стенах свежие заплаты. Ямы, вырытые снарядами, поросли травой. Только кресты, много крестов, порой одиноких, порой сбившихся в целые рощицы. На одних имена, другие немые: «здесь покоятся восемь французских солдат», «здесь погребен неизвестный солдат». По дороге едут возы с сеном. Недалеко от меня женщина. Она разыскивает могилу. У нее в руках бумажка—письмо? план? Нагибается, читает имена, идет дальше.

Всюду надписи:

«Питайте уважение к могилам и охраняйте посевы».

Они составлены по просьбе крестьян—приезжавшие топтали поля. Ведь вокруг каждой могилы колосья—тесно, тесно: жизнь не уступает смерти ни одного вершка земли. Много таких же женщин читали эту просьбу расчетливых поселян. Кто знает, звучала ли она для них насмешкой или, быть может, последней мудростью?

На холмике седой дед рассказывает мне о битве. Рассказывает спокойно, эпически, будто об очень далеком прошлом:

— Немцы пришли с той стороны. Здесь они окопались. На третий день к вечеру...

Рассказав, спрашивает:

— Как вы полагаете, m-r, скоро ли позволят нам перепахать могилы? А то много земли пропадает».

Внизу играют ребята. В предвечерней тишине особенно звонки их голоса. Смуглы и прекрасны в сентябрьском солнце широкие поля. Я вспоминаю, как давно, до войны, смотрел я на поле Седана. Равнодушный турист, слушал со скукой слова проводника:

«Отсюда показалась прусская конница»...

Я любовался тогда золотой ольхой и припадавшими к земле ласточками. Вот и сюда когда-нибудь будут приезжать любопытствующие путешественники, слушать объяснения, рассматривать памятники и наслаждаться розовым закатом.

Женщина упала перед одним из крестов. Нашла ли? Или просто остановилась над «немой» могилой? Эта не забудет. Не забуду и я. А голосистые ребята кричат под горой.

ГОРОДА И ЛЮДИ

I

МЫ ЖИЛИ В НИХ, мы говорили, что любим их, но только теперь, как будто впервые мы их увидали. Города—это не только дома и улицы, фабрики и магазины. Они живы своей особенной жизнью. Теперь многие из них умирают, искалеченные человеческой рукой. Как прекрасны руины римских храмов, поросшие травой, с ящерицами на солнце! Их скосили дожди и ветра, дни и ночи, лета, века. Как уродливы задымленные расщепленные развалины ипрских «рынков» или арасского «беффруа», сраженные крупповскими снарядами. Мучительная, безобразная смерть!

Вот один из погибших городов, столица Артуа, древний Аррас. Я брожу среди камней; кое-где торчат обгорелые стены, уцелевшие фасады, камни, черепицы, жесть, прах. Вот это было «Большой площадью», а это «Малой». Здесь был собор, а здесь ратуша. Теперь все сравнялось.

Шумной и веселой жизнью жил когда-то Аррас. Здесь бывали богатые ярмарки, и на них собирались купцы из Фландрии, Пикардии, из Лиона и из Гента. Тяжелый бархат, нежный шелк, тончайшие кружева и цветные ковры красовались в рынках Арраса. На площадях пели артуасские труверы и разыгрывались наивные мистерии. Горожане в ознаменование своей вольности и своих прав построили высокую башню — «беффруа». На ней царил золотой геральдический лев. Не раз враги—англичане,

голландцы, швабы—осаждали Аррас, но гордый лев защищал Аррас. Недаром на городских воротах была задорная надпись:

«Когда мыши будут есть котов, англичане получат Аррас».

Потом отшумели грозы, и ясные осенние дни пришли для Арраса. Он стал тихим провинциальным городом. На площадях зеленела трава. Оскудели амбары, магазины и кассы, поредели жители. По берегам мутной Скарп под вечер гуляли тихие старички из богадельни и редкие туристы. Задолго до его насильственной смерти Аррас называли «мертвым городом», но он жил своей особой жизнью.

Его убили. Почти два года изо дня в день усовершенствованные орудия разрушения старались сразить его хрупкое нежное тело. Обрушилась «бефрруа», и долго гордый лев валялся в мусоре. Потом его увезли в изгнание под своды Парижского музея. Жители крепились, они не хотели расстаться с Аррасом. Многие умерли вместе с родным городом.

В этих развалинах ютятся еще люди. Вот старушка, она просиживает целые дни в темном подвале, но она не уезжает.

«Пусть другие, молодые попробуют, а я не могу».

Она не знает истории Артуа, она не понимает красоты готической архитектуры, или фресок древних мастеров. Она просто старая бабка, которая за миску похлебки стирает солдатам белье. Но она чувствует душу Арраса и любит ее. Другие, молодые, построят, быть может, новый город, фабрики и казармы, универсальные магазины, дома с водопроводом, удобный и «живой» город. Но в памяти останется темный провал, прервется золотая цепь преемственности.

II

Об Аррасе исследователи искусств писали книги, а летом любопытные англичане бродили по его площадям. О сожженном Жербевиере знали, кажется, только его жители да еще префект департамента Мэрт-и-Мозель. В нем не было ни готических церквей, ни причудливых замков. Как в каждом порядочном городке Франции, в нем имелась старенькая церковь, новая назойливая мерия, хорошая усадьба («шато») и несколько сот серых приземистых домов. Не о чем жалеть, скажете вы. А вот мадам Фуле плача говорит мне. «Это был самый красивый город во Франции. Конечно, Париж больше, но если бы вы видели площадь перед нашей церковью и липы... старые липы»...

Немцы принесли особые «зажигательные лепешки», и город сгорел. Жители не захотели уехать, они маются в сколоченных наспех бараках. С потолка течет вода, холодно, тесно, а время от времени начинается бомбардировка. Вреча хоронили старого Ледо. Вероятно, летчик принял похоронную процессию за передвижение войск. Одна, другая, третья бомбы. Мертвец долго ждал погребения. В Жербевиере сейчас и умереть трудно. Но мадам Фуле говорит:

— Это прекрасный город. Даже теперь здесь лучше, чем в Нанси или в Париже.

Она показывает открытки с видами—обыкновенные скучные улицы и дома.

— Хотите, я подарю вам одну открытку? Ведь их больше не будет. Жербевиер умер...

III

Париж—для всех, но каждый любит его своей единственной любовью. Сколько людей повторяют это нежное имя «Париж, Парис, Париджи, Парии»?.. Я помню русскую

учительницу из Кобеляк, которая тридцать лет мечтала о Париже и, наконец, скопив гроши, приехала с экскурсией на семь дней. Как мало времени, а в маленькой книжечке записано столько вещей, не успеть осмотреть: «Венера Милосская», «магазин Лувр», «Эйфелева башня» и еще и еще... Но приехав, она никуда не побежала, она села на террасу кафе под каштанами и долго в изнеможении счастья глядела на беспечную толпу, приговаривая:

— Париж, Париж...

И я знаю бедного сенегальца Агли, которому генерал в награду за храбрость предложил попросить все, что он хочет. Агли ответил:

— Я хочу в Париж. Мне сказали, что там золотое небо и все играют на флейтах...

Где они теперь? В Омске и в Буэнос-Айресе, в Чикаго, Каире, может быть в Берлине? Они читают коротенькие телеграммы. Немцы в тридцати километрах. Каждый день налетают «таубе». На Нотр-Дам бросили бомбу. Сегодня ночью протяжно выли сирены, и два «цеппелина» летали над городом. Читают и шепчут: «неужели»?..

Строже и тише стала жизнь Парижа. Скучающие иностранцы не заполняют кафе Монмартра. Париж всегда был немножко провинциален, а теперь его бульвары особенно уютны и милы. Сколько нежных парочек под платанами, поцелуев и слез расставаний! Ребята прыгают на расчерченной мелом мостовой. Старики на набережной Сены перерывают изъеденные пыльные книги, разыскивая какую-нибудь «историю семилетней войны».

Вечером рано закрываются кафе и гаснут фонари. Луна дробится в зеленой Сене, и башни Нотр-Дам стоят, как кипарисовые рощи.

Никогда Париж не был так прекрасен, как в эти годы войны. Чужеземец, теперь увидевший впервые Париж,

удивится, сколь легка и сладка здесь жизнь. Но я знаю, что значит эта тишина, черные ночи и яркие розы на кладбищах. Только здесь, под небом Франции, возможны эта светлая печаль—парижские сумерки легкие, и невесомые ясные слезы Ронсара, улыбчивая грусть холмов Иль-де-Франса. Где бы теперь ни были учительница из Кобеляк или негр Агли, все, хоть один час прожившие в Париже, поймут, что означает его улыбка.

IV

Нанси—глубокий тыл. Нанси живет обычной будничной жизнью. Понедельник, девять часов утра. По мокрым улицам прошли рабочие, чиновники, школьники. Теперь тихо. Я сижу на террасе кафе, напротив дворца. Я не могу поверить, что где-то трубы заводов, казармы и пушки. Эта большая зеркальная площадь похожа на бальный зал. Золоченая решетка вокруг с чугунными коваными фонарями. Беспечные и чуть-чуть грустные линии дворца. А посредине статуя того, кто захотел в шумном городе устроить Версаль и среди государственных дел заняться маскарадами. У него тщеславный и легкомысленный облик. «Герцог Лотарингии Станислав Лещинский». Пусто в кафе, и важные седые лакеи дремлют. Никого на площади, но кажется—из золотых ворот сейчас покажется смешливая горожанка в широкой юбке, в черной маске, напевая песенку о хитром Амуре. Вдали в парке девочки играют в серсо, кукольные и улыбчатые, похожие на статуэтки Севра.

Вдруг грохот. Я ничего не понимаю. Кричат, толкают куда-то. Через минуту я в погребе. Что это? Станислав Лещинский, серсо, коварный Амур, дальнобойные орудия... снаряд... еще... еще... Карета скорой помощи. Три девочки

убиты, развалины дома. Попрежнему блестит, будто паркет, голубая площадь, и улыбается изящный танцор—«герцог Лотарингии».

V

Есть такие жития святых: до сорока лет жил, кутил, торговал. Потом вздрогнул, оглянулся, уверовал и принял мученический конец.

Накануне войны я был в Реймсе. Стиснутый надвинувшимися со всех сторон домами, одинокий и ненужный, стоял собор. Звенели трамваи, и пробегали маклера. На одной окраине белые, будто жиром налившиеся, виллы богачей, владельцев виноградников. Сонные толстые жены с молитвенниками, в черных шуршащих платьях, а на коротких круглых пальцах бриллианты.

На другом краю города дымные красные фабрики, кабаки, митинги, провинциально-семейные проститутки. А между окраинами—Реймс, не богатый, не бедный, который служит в какой-нибудь конторе, спорит о кампании в Марокко, играет на бильярде, изучает книжку сберегательной кассы и потом мирно засыпает под каменным крестом, с заботливой надписью «вечное владение».

Издали собор кажется неизменившимся, и, только подходя к площади, видишь страшные раны. Остался лишь скелет. Мелкими цветными каменьями рассыпались витражи. В каменную пыль обращены статуи. Обгорелые красноватые своды. Готовые рухнуть башни.

А люди живут «quand même», изо дня в день. Немцы—на соседних холмах, их передовые посты всего в двух верстах от города. Неутомимые и аккуратные, они разрушают Реймс. Теперь два города: один прежний, другой под землей, в погребах. Как пригодились просторные погреба складов шампанского—в них теперь больницы, редакции газет,

гимназии. Когда немцы отдыхают, жители выглядывают на часок. Пробегут по улице—и назад. Уж не одна сотня убиты и покалечены.

Вот в этом погребе живет семья архитектора Л. Дочка, молоденькая девушка, только что оправилась от раны. Она—ученица консерватории. Перетащила в погреб пианино. Между двумя приступами канонады разбирает новые ноты и спорит о музыке Дебюсси.

В большом погребе помещается газета «Восточный Вестник»—здесь и типография, и редакция, и контора. Это уже третье помещение, прежние разгромлены. Среди сотрудников, наборщиков, разносчиков есть убитые и раненые. Порой снаряд разрушает помещение или убивает ответственного работника. Но через день газета снова выходит. Маленький жалкий листок с агентскими телеграммами. Но как ждут люди в погребах храбрецов, которые разносят газеты! Через нее они приобщаются к миру, что-то слышат об иной жизни. «Восточный Вестник» знает это, он на посту. Наверху цифры: «Год издания 36-й, № 247». Пусть 1916, пусть год великой катастрофы, но для них он 36-й. Никто не уйдет. За станок убитого станет товарищ, перо упавшего подымет другой.

А в другом погребе школа. Я читал дневник учительницы, и, кажется, более мучительной и прекрасной книги я не читал никогда. Короткие заметки. Но сколько в них муки за эти детские, ничего не понимающие глаза. Убивали отцов и матерей. Порой пустели парты учениц. Что могут делать дети? Как все, они продолжают свое прежнее дело: на глазах у смерти они играют. В Париже, в Люксембургском саду, ребята играют «в войну». Здесь, на войне, они играют в простые игры: в пятнашки или в чехарду. Вот получился приказ—немцы употребляют снаряды с удушливыми газами — раздать детям противогазы. Ребята

в восторге: они примеряют маски, пугают друг друга, смеются, смеются...

— Это как «mardi gras», это карнавал,—говорит маленькая Полина.

Учительница улыбается, а в глазах ее мука. Она знает, что у крохотной Мариетты оторвало ногу, что отец Христины убит, что Габриель напрасно ждет свою маму. Она считает пустые парты—одна, две, три, четыре... Она глядит на эти детские лица в страшных уродливых масках, и видит их задохшимися, посиневшими, она видит смерть не только свою, но и этих—невидящих.

VI

Живые—бывают мудрыми и глупцами, прекрасными и уродами, богатыми и нищими. Все трупы похожи друг на друга. При жизни Аррас был тихим стареньким «жантильомом», Верден—лихим драгуном, любившим часовни барокко, балы и конфекты драже, Ланс—закопченым суровым углекопом. Теперь они умерли, и никто не отличит их друг от друга. Это было публичным домом, это древней церковью, это казармой, это заводом.

Так говорят. Я вижу только камни, мусор, пыль. В одних домах бесчинствовали, в других трудились, но быстро отшумели слезы, песни, голоса. Скучная свалка. Собирают оставшиеся кирпичи, будут снова строить храмы, заводы и притоны из одних и тех же камней. В газетах это называется «воссозданием городов, пострадавших от войны», а в одной старенькой книжке—«Суетой Сует».

VII

Нель. Девичья комнатка. На подоконнике герань. Туалетный столик с голубой кисеей. А на узенькой белой кровати труп огромного рыжего немца. Пахнет... Он умер от

ядовитого газа. Высунут язык, глаза вылезли из орбит. В руке юмористический журнал с какой-то дамочкой в подвязках.

Шони. На улицах груды пустых бутылок, жестянок, испражнений. Дохлая лошадь. «Обойдемте кругом». Я ступаю на маленькую книжку в пергаментном переплете с застежками. Поднимаю. «Похождение галантного турка».

Ex libris маркиза де Селиньи.

Площадь в Баноме. Здесь была церковь. Изображение распятого Христа, голова отбита. Оно лежит похожее на труп. Солдатские каски, поломанная винтовка. Какие-то кастрюли. Черепа погребенных здесь некогда иереев, вывернутые из земли снарядом. А над всем, верно, отброшенный из соседнего дома, ночной горшок...

ТРУСОСТЬ И ХРАБРОСТЬ

I

В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ВОЙНЫ на маленькую станцию близ Тулона прибежала старушка с какой-то бумагой. Неграмотная, она, волнуясь, молила начальника станции сказать, в чем дело, чувствуя, что это касается ее сыновей. В бумаге говорилось о том, что Мариус, Жан и Виктор, такие-то, «умерли трусами». Начальник станции презрительно выругался. На ошалевшую от горя мать посыпались насмешки, негодующие обвинения, проклятия.

Это был малый отголосок нашумевшего дела 15 корпуса, сформированного в Марселе. При первом наступлении на Мюлюз в Эльзасе полки панически бежали. Многих расстреляли. Северяне заговорили о природной трусости всех южан. Потом оставшиеся в живых отличались отвагой. Если бы трех сыновей бедной старухи не расстреляли «для остраски», они привели бы в восторг честного начальника станции тремя военными крестами.

II

Страх почти всегда вне сознания. Боятся не самого опасного, но скорее беспричинно. Спокойствие, уверенность в своей безопасности также рождаются случайными субъективными ощущениями.

Конечно, каска до некоторой степени предохраняет голову от шрапнели, от мелких осколков и камней. Но что значит этот маленький шлем, когда приходится итти под

заградительным огнем? И все же каска успокаивает солдат, а если случайно на них остались кепи, они волнуются и трусят.

На дороге между двумя высокими откосами под артиллерийским обстрелом как-то спокойнее и уютнее, чем в ровном поле. На самом деле, быть может, и опаснее, так как неприятель берет под обстрел дорогу. Зато не видно разрывов.

Еще забавно чувство безопасности в городе, хотя бы совершенно разрушенном. Дома, уцелевшая порой вывеска, создают иллюзию мира и привычной жизни. Я был под сильным обстрелом в развалинах Арраса. Английские солдаты прогуливались по городу. Они только (снова самообман) жались ближе к стенам. Снаряды падали на ближнюю площадь. Я стоял у почти уцелевшего дома с вывеской «Cafe Estaminet». Я не воспринимал обстрела. Мне казалось, что я в городе, сейчас могу зайти в кафе, а этот грохот—гул пролетающих экспрессов, спектакль или какие-то военные занятия.

Итти под обстрелом легче, чем сидеть на одном месте. Помню, возле Вими я с «анзаками» (новозеландцы) пробирался под обстрелом к холмику, откуда можно было бы наблюдать атаку. Справа и слева падали снаряды. Мы быстро шли. Потом забрались в свежую воронку и навели бинокли. Обстрел продолжался. И от того, что мы не меняли места, казалось, что мы обречены, ждем, пока, наконец, снаряд не отыщет нас. Я вылез и пополз вперед. Страх сразу исчез. Я иду—значит я ухожу от опасности. Это не верно, даже нелепо, но в страхе все—наивность, каприз, суеверие, все, кроме разума.

III

Мы были у Дарданелл тогда. На утро была назначена атака турецких позиций. Уж не в первый раз, а как не по себе было. Весь вечер сидели молча, даже наш Тартарен

и тот нос повесил. Жить, видно, очень хотелось. Да, так вот вечером прибегает вестовой из штаба:

— Нет ли среди вас кого-нибудь, кто знает турецкий? В штаб требуется переводчик.

Господи! Как взволновал он нас! Турецкий язык! Чорт побери! И никто не знает. А ведь это в штаб... Ведь это значит—жить. Один из наших, Гарас—храбрый парень был, убили его в ту атаку—подбежал к вестовому:

— Я испанский знаю.

— Говорят тебе, турецкий.

— Ну ты спроси там, может быть и испанский нужен.

Стали перебирать, кто какой язык знает. Так всю ночь. Ну, а потом обошлось...

Это—«трусость». А рассказал мне это зуав. У него военный крест и две медали. Его полк славился своей отвагой.

IV

Убеждение, героизм, подвиги—это для отдельных и немногих. А воюют миллионы. Для них—принуждение. Чтобы солдаты оставались месяцами в окопах под обстрелом, чтобы они выбегали вперед под пулеметный огонь, чтобы ученые, фермеры, рабочие, лавочники кололи штыками, нужна не ненависть к врагу, не любовь к родине, а насилие. Каждый солдат знает—выхода нет. Или он повинуется, идет вперед—тогда, может быть, смерть, а может быть, и жизнь. Или он бежит назад—тогда верная смерть, бесславная и горшая. Третьего нет. Отбросьте этот принудительный аппарат,и вместо миллионных армий останутся немногие тысячи героев или любителей приключений. Остальные—не трусы, нет, они обыкновенные люди. Они увидят дорогу с верным исходом: «жизнь». В минуту слабости уйдет первый, за ним сначала робко, стыдясь, второй, третий, потом неудержной лавиной понесутся остальные.

V

Во всех армиях много «самострелов». Чтобы уйти хоть на время с позиций, люди простреливают себе руку. В госпиталях врачи сейчас же распознают характер раны. Некоторые доносят. Недавно из Шалонского госпиталя в Военный Трибунал были отправлены девять самострелов. Старший врач одного лазарета рассказал мне следующее:

— Привезли ко мне «самострела». Я осмотрел руку, говорю ему: «Вы это сами»...

Не отпирается. Я спрашиваю:

— Почему вы это сделали? Я видел ваш «ливрэ милитер». Вы три раза были ранены, у вас два креста. Словом, вы не просто трус. Расскажите мне, и будьте спокойны, я не донесу.

— Я не знаю, трус я, или не трус. Два года я делал то же, что и все. Я ходил в разведку, сидел в форте Домон, отбивал атаки. Вчера вечером я почувствовал вдруг, что больше не могу. Вот осел остановится, бейте, хвост крутите—не пойдет... Не может, и все тут... И таким раем показался мне госпиталь. Лежать на койке, чтобы тихо было, спокойно. Хоть один день. Потом пусть расстреляют—все равно. А больше не могу... Вот и сделал...

VI

К привычной опасности относишься спокойно. Новая, неизведанная наводит страх. Негры и тюркосы безразличны к штыку, но панически боятся артиллерии. Когда немцы впервые начали употреблять удушающие газы, французские солдаты убегали от дыма простого костра. «Танки» вначале приводили немцев в трепет, как адовы видения. Бессознательный страх просыпается в человеке, когда к орудиям войны примешивается власть стихии.

В Аргонах, возле Фий-Морт, я дошел до передового поста в тридцати шагах от немцев. Солдаты сказали, что ночью они слыхали шум под землей—готовится подкоп. Это обычная форма войны в Аргонском лесу. Пробуют «камуфлет». Когда? Может быть, сегодня, через час, через минуту. Мне стало страшно.

Под вечер я был у перевязочного пункта и глядел на золотую ольху мирно засыпающего леса. Вдруг раздался сухой, резкий треск.

«Сапа». Это немцы подкопались под передовой пост. Снова обманчивая тишина, шорох листьев, крик иволги. Там, где я был утром, — засыпанные люди. Быть может, сейчас подо мной расступится земля. Страшно не от людей, не от закладываемых мин, а вот от этой неуверенности в твердости земли. Война? Землетрясение?

Жутко, когда над позициями, над батареей, или над лагерем хищной птицей висит вражеский аэроплан. Жутко не от того, что скоро начнется обстрел, или что он может скинуть бомбы, стрелы,—нет, просто от своей беззащитности, неприкрытости. Вот он сверху смотрит и все видит и все знает...

Раз на английском фронте, когда мы шли по шоссе за обозом, неожиданно комком упал немецкий «таубе». Он спустился так низко, что я видел лицо летчика. Он начал из пулемета обстреливать дорогу. Мы залегли в канаву. Это было страшно, и пули, падающие сверху, напоминали какой-то библейский град...

На транспорте везли нас через Северное море. Ждали нападения подводной лодки. Впереди, как ищейки, убегали, рыскали и вновь возвращались две миноноски. Капитан приказал. «Теперь наденьте пояса».

Немногие—счастливцы—сядут в шлюпки, остальные должны быть готовы кинуться в воду и держаться за канаты

пловучих плотов. Тихая белая ночь. Если рассудить, опасность меньшая, чем где-нибудь на позициях.

Все же поднимается... Даже не страх, а какое-то томление, тревога. Кругом темная вода.

И когда вдали после двух дней показались смутные очертания норвежских скал, вернулось спокойствие, уверенность, будто нога уже ступила на твердую землю.

VII

Страх, рождаясь мгновенно, мгновенно исчезает. В первый месяц войны, после поражения у Шарлеруа, французская армия бежала. Это было паническое бегство. Бросали артиллерию и обозы, пехотинцы захватывали лошадей, драгуны, оставляя коней, кидались на поезда. По шоссе к Парижу и Руану солдаты и беженцы пестрой толпой неслись от отставшего позади врага. Одна рота могла бы уничтожить в эти часы целый корпус. А через десять дней эта же армия, эти же обезумевшие от страха солдаты, докатившись до фортов Парижа, опомнились, собрались с силами, кинулись на врага и победили.

В те дни паника овладела и парижанами. «Мы проданы и преданы»,—гудел народ. Толпы бежали на вокзалы, осаждая поезда. Это длилось несколько дней. Многие уехали, и богатые кварталы опустели. А потом сразу, непонятно почему, до Марны наступило успокоение. Оставшиеся собирались, смеясь, на площади и на Монмартрскую вышку. Балагуря, глядели они на немецкие аэропланы, которые каждый день аккуратно в пять часов пополудни сбрасывали на Париж десятки бомб.

VIII

В госпитале русский доброволец Исак З. обратил на себя внимание необычайной раной. У него была проколота штыком ладонь. Вот что он рассказал мне.

— Я—еврей из Литвы. Портной. Бежал от военной службы. Пошел волонтером, потому что люблю Францию и еще потому, что все пошли. Но это очень страшно, первая атака, я ведь даже не знал, что это. И когда на меня побежал немец, я выронил винтовку и заслонился руками. Вот так. Я даже закрыл глаза. Я не боялся смерти, но это было слишком страшно. Может быть, лучше, если б он проткнул мне сердце, а не руку,— тогда меня не считали бы трусом.

— Скажите, вы ведь не думаете, что я трус?..

IX

Когда я приехал в Нуайон, только что очищенный немцами, у заставы две женщины, увидев автомобиль, низко в пояс поклонились. «Вы понимаете, что нужно сделать, чтобы французы так кланялись»,—со слезами в голосе сказал мой спутник, французский офицер.

Запуганные на-смерть, жители боялись даже радоваться освобождению. Разговаривая, озирались по сторонам. Что это? Два года оккупации. И потом началось самое тяжкое, стыдное. Один за другим приходили и доносили друг на друга. Шептали наветы явно нелепые, смешные. Страх, рабский страх развратил их души. Нужны, быть может, долгие годы, чтобы излечить их от этих низких поклонов, собачьих взглядов и гнусного шопота.

X

Маленькая пикардская ферма. В дымной комнате вся семья. Мать вяжет, старшая дочка, школьница, с косичкой, читает, вторая ползает по полу, сооружая домик из спичечных коробок. Солнце. Блестят медные кастрюли. На выбеленной стене молодцеватый портрет бельгийского короля. Мир. Благоденствие. А в садике у фермы стоит

английская батарея. Стреляют. Весь дом трясется. Женщины лениво смотрят в окно. Девчурка в упоении бьет в ладоши и кричит: «бум». Школьница деловито говорит: «здорово!» Так каждый раз. Но вражеские батареи ищут нашу. Время от времени слышно мяуканье, а потом треск. Снаряды падают близко: то недолет, то перелет. Может быть, сейчас они достигнут цели. Но шум куда меньше, чем от отправных выстрелов, и в комнате никто их не замечает.

— Э! Надо убираться отсюда прочь,— говорит артиллерист товарищам. А на ферме продолжают вязать, читать и строить домик из коробков.

XI

Альберт. Вернее то, что было год тому назад Альбертом. Развалины домов, лавок, церквей. Напротив собора кабачок «Lion d'Or»—красный двухэтажный дом. Верхний этаж сбит снарядом. Внутри кровати хозяйки и четырех ребят. Когда начинается обстрел, вся семья переселяется в погреб.

Я пью скверное кислое винцо и беседую с хозяйкой.

— Как живете, madame?

— Да разве это жизнь, monsieur? За это вино я заплатила сто шестьдесят франков гектолитр. И вы хотите, чтобы я жила? И еще надо достать его. На прошлой неделе я привезла из Амьена две бочки, и под такой огонь попала. Мог весь товар пропасть.

— А как с обстрелом?

Хозяйка зевает, голос ее становится вялым.

— С обстрелом? Да, конечно, это очень неприятно. Вы видели изменение в нашем доме. Но, с другой стороны, я не могу пожаловаться: теперь фронт ближе, и посетителей больше. За день торгую на двести, а то на триста франков. Хотите еще стакан?

У нее лицо самой обыкновенной крестьянки, с наивными, слегка коровьими глазами. Она алчная «спекулянтка»— следует негодовать. Перед ее храбростью следует преклониться. Она любит самое ничтожное в мире—стофранковые бумажки. Она радуется тому, что немцы продвинулись вперед—бойчее идет торговля. Она боится за вино и за деньги, но не думает ни о себе, ни о детях. Ее можно презирать, и все же она победила смерть.

XII

Пон-а-Мусон немцы обстреливали регулярно каждую ночь. Одна из обитательниц этого несчастного городка, m-me Бальи, у которой осколком снаряда ранило мальчика, жаловалась мне:

— Плохо здесь... если бы одна, а то за детей боюсь... Вот зовет меня сестра в Чикаго,—у меня старшая сестра замужем за американцем. Конечно, там лучше, и я очень хотела бы пожить с ней. Только переезд так опасен...

Это было еще до подводной войны. Напрасно я пытался разубедить ее, напрасно доказывал, что одна ночь, проведенная в Пон-а-Мусоне, во сто крат опаснее переезда в Америку. Она не пыталась спорить, но глядела на меня с явным недоверием, а под конец заявила, показывая на улицу и разрушенные дома:

— Все это так, но здесь как-то спокойнее...

XIII

Русских пленных, бежавших из Германии, везут домой. Они забились в трюм. Тесно, жарко, дышать нечем. Разоблачились. Кто в карты играет, кто на гармошке, кто спит. Тревога. Замечена подводная лодка.

— Вы бы, товарищи, пояса надели, да на палубу.

Никто не двигается с места. Один из всех отвечает:

— Если суждено—так и с поясами затонем, а нет—и здесь обойдется.

XIV

На английском фронте у Ланса. Нужно пройти по шоссе. Кажется, его сильно обстреливают.

Я вижу возле домика французского солдата, который чинит изгородь.

— Что, стреляют?

Солдат равнодушно отвечает:

— Не знаю. Я в отпуску.

Там, на своем фронте, он интересуется, падают ли снаряды. Здесь он поправляет забор, который, быть может, через час вместе с ним погибнет под снарядом.

Он приехал в отпуск, он у себя, он не на войне. Снаряды его не интересуют, смерть его не касается.

XV

Батальон канадцев под сильным заградительным огнем идет на подмогу атакованным англичанам. Краснолицые, обветренные, они спокойно и стройно идут.

Почти у всех трубки. Снаряды беспрестанно падают то налево, то направо от шоссе.

Солдаты, будто не замечая их, не ускоряя и не замедляя шага, идут дальше.

Но вот желтый дым скрыл их. Проходит полминуты. Снаряд вырвал несколько рядов. Санитары наклонились над лежащими. Остальные вновь выстраиваются, идут вперед.

Один, видимо только засыпанный землей, поднимается, догоняет товарищей и закуривает трубку.

XVI

Англичане в передовых окопах, под обстрелом, по колена в глине продолжают каждое утро аккуратно бриться. Офицер говорит какому-то солдату:

— Вы не выглядывайте. Оттуда видят вас.

— Да, но здесь темно и я могу, бреясь, порезать себя.

XVII

Наш автомобиль застрял,—дорогу обстреливают. Дальше проехать нельзя. И пройти невозможно—болото. По дороге меланхолично шагает рослый шотландец.

— Э, милый! Куда? Там не пройдете.

— Но моя батарея стоит у того холма, а я хочу обедать.

Мы делимся с ним сухарями. Закусив, он вынимает трубку и мрачно шупает карманы. «Забыл кисет».

У нас тоже нет табака. Он хочет курить—не сидеть же здесь без трубки до вечера.

И он снова спокойно шагает от одного дымка до другого...

ЖЕСТОКОСТЬ И МИЛОСЕРДИЕ

I

ВО ВСЕХ РАССУЖДЕНИЯХ о жестокости на войне кроется ложь. Нельзя распределить зло по степеням: зло возвышенное, обыкновенное и низменное. Война — не вид государственного строительства, это — рассадка гнева, злобы, безумия, которые не знают границ и не соображаются с параграфами законов. Жестокость и милосердие — не следствие высокой или низкой культуры, это—прилив и отлив страстей, стадия болезни, степень участия человека в общем безумии. Пока солдат—солдат второго взвода первой роты, а не крестьянин Поль из деревни Лево—он жесток, он не может быть иным.

В полках существуют особые отряды «чистильщиков». Первая линия вражеских окопов взята. Надо итти дальше. Но в землянках еще прячутся враги. «Чистильщики» начинают работать. У них ручные бомбы.

— Кто здесь?

— Сдаемся,—кричат немцы.

Сдаются? А что если они выскачут с гранатами или бомбами?

— Сколько вас?

— Восемнадцать.

— Восемнадцать? Двух бомб хватит на всех.

Часто убивают, потому что нельзя под перекрестным огнем пробраться в тыл, а здесь держать пленных опасно.

Русские как-то захватили сто двадцать немцев. Но неприятель, подкрепленный, вновь подступил. Провести к себе немыслимо. Оставить врагам?.. Но ведь это значит не воевать. Пленных перебили.

II

Рукопашные бои теперь почти исключение. По большей части солдаты не видят врага, стреляя не по человеку, а по месту. В определенную точку кидают из окопов гранаты. Распознав по карте местность, летчики сбрасывают на город бомбы, не видя своих жертв: женщин и детей. Глубоко в тылу стоят тяжелые орудия, вокруг них снуют люди. Одни подкатывают снаряды, другие дергают канат. Пушка наклоняется, с ревом выплевывает снаряд, в изнеможении откидывается. Где-то сейчас—разрушенные дома, разорванные люди, вопли, стоны. Здесь — мирная работа, ничем не отличающаяся от обычной деловой суеты вокруг сложной машины на заводе. Так же мирно, ничего не видя, ни о чем не думая, солдаты из разных аппаратов пускают удушающие газы или огненную жидкость. А по ту сторону колючей проволоки другие солдаты, одетые в другую форму, делают то же самое. Многие из них пробыли уже три года на войне и, верно, убили или искалечили десятки людей, но никогда не испытывали чувства—вот этого человека я убил. Кто знает, возможна ли была б эта война, если бы все ясно видели непосредственные результаты своих трудов.

В штабе такой-то германской армии летчику приказали ночью совершить полет на Париж. Кто-то подписал бумагу. Летчик исполнил приказ. Я видел в госпитале восьмилетнюю девочку, у которой оторвало обе ноги. Ни генерал, ни летчик ее не видели. Я видал живые комки мяса

вместо лиц, без глаз, с дырами ноздрей, обожженные кипящей жидкостью. Я видел на-днях в Ивре девяносто слепых солдат. По дороге в Мэзон-Бланш я встретил триста одноногих солдат, которые прыгали на костылях, как цапли. Немцы их не видели. Как найти в море крови каплю, пролитую мной? А ведь все-таки быть жестоким на расстоянии, втемную, куда легче. Одно дело подкатывать снаряд, другое—подойти к этому белокурому молодому парню и выколоть ему глаза.

III

Конечно, ужасна исступленная толпа, которая громит город и убивает людей. Ужасен человек, от ненависти ослепший, способный уничтожить все. Ужасны гнев, злоба, безумие. Но в сто крат ужаснее жестокость холодного, трезвого ума, приказ за №, смертный приговор целой стране, вынесенный по соображениям стратегическим или дипломатическим.

Я видел, что сделали немцы с Суасонэ и Пикардией перед тем, как очистить их. Это не разгул пьяной солдатчины, это не военная необходимость, это даже не варварство полководца. Это расчетливая работа конкурента. Когда-то воевали профессионалы, и целью войны было—разбить армию противника. Теперь друг на друга пошли народы, надо уничтожить весь народ, опустошить его земли, разрушить его труды.

В течение двух лет германцы изводили население. Одних угнали на работы, других посадили в тюрьмы, третьих расстреляли. За что наказывали? Да вот, жители должны были извещать о каждом снесенном курицей яйце. Старая Луиза утаила яйцо—в комендатуру. Новые названия улиц—Поль забыл, сказал не «Гинденбургштрассе», а по-старому, «Рю де Леглиз»—в комендатуру. Ребята в школе запели

«марсельезу»—в комендатуру. Немцы ушли, но дети путали французский язык с немецким, взрослые кланялись в пояс, и все с мистическим трепетом повторяли: «комендатура», «комендатура».

Перед уходом немцы приказали жителям деревень переехать в города, а в городах собирали всех на окраинах. Специальные команды «поджигателей» на велосипедах ездили по стране, сжигая все по пути—фабрики, поместья, фермы, дома. Целые города—Бапом, Шони, Нелль, Ам—и сотни деревень сожжены дотла. Взорван прекрасный замок Куси, лучшее наследие феодального периода. Сожжены церкви Бапома и Трасси, древние башни Ама. Кругом пустыня на пятьдесят верст в глубину.

За это отступление Гинденбург получил высочайшую благодарность. Вероятно, и поджигателям роздали кресты «за усердие». Проект умерщвления страны был хорошо разработан и тщательно приведен в исполнение.

В апрельское утро в Шольне глядел я на плодовый сад. Меня поразили нетронутые цветущие деревья; немцы знают, что эта провинция славится грушами и сливами; уходя, они не оставили ни одного плодового дерева,—все срубили. А вот в Шольне у этих стен стояли рассаженные шпалерами нежные розовеющие груши. Я подошел ближе к стенам и увидел, что все деревья—более двухсот—подпилены в корню. Рядом со мною стояли солдаты из крестьян.

Один из них сказал:

— Сволочи! Зачем? Ведь сколько трудиться надо, чтоб это вырастить.

В его глазах были слезы не то обиды, не то злобы. Он никак не мог понять, что можно в одну минуту уничтожить труды долгих лет. Может быть, и тот, кто, исполняя приказ, уничтожал этот сад, был тоже крестьянин, и у него где-нибуь в Баварии цветут теперь такие же груши.

Гнев не знает границ и, если этот француз попадет когда-нибудь в его сад, он также будет рубить розовые хрупкие деревья.

IV

Туманный осенний вечер. Оранжевые лампочки кинематографа блестят и рассыпаются в белой мгле. Публика расходится. Сегодня шла мелодрама «Разбитое сердце», и не одна женщина плакала над горем бедного покинутого мальчика. Теперь пора спать. Но вот шум, толпа.

— Боши! Бошей везут!

В омнибусе, ежась от холода, с усталым недоверием глядя на чужой город, сидят пленные — человек десять, с виду немолодые крестьяне из запасных. Толпа обступила тесным кольцом и шумит угрожающе:

— Смерть им! Убить их!

У женщин, плакавших в кинематографе, теперь злые, беспощадные лица. Они машут зонтиками и ругаются. Омнибус движется дальше. Вслед ему несутся окрики:

— Смерть, смерть им!

В Нанте недавно женщины, узнав о том, что в город должны привезти пленных, караулили на вокзале с палками, метлами и вилами. Караульные еле сдерживали беснующихся «патриоток».

Я слыхал беседу двух девушек о том, что нужно делать с пленными:

— Я бы их всех перерезала.

— О, это слишком для них хорошо! Я бы сначала отрезала пальцы, один за другим, потом бы выколола глаза, потом горячими щипцами прихватила язык, потом...

Это обыкновенная девушка, которая не может раздавить таракана и, увидев каплю крови на уколотом мизинце, готова упасть в обморок. Наверно, и посетительницы

кинематографа и нантские женщины — добрые жены, нежные матери.

V

Сейчас мимо меня провели человека в штатском. Он — шпион и сигнализировал флажками. Его расстреляют. Сделал он это из-за денег и погубил немало людей. Он шагал мелкими шажками, медленно, будто стараясь продлить путь. Солдаты торопили его. А лицо было неподвижное, ничего не говорящее, только бегали жадные глаза, как зверь по клетке, ища выхода, невозможного спасения.

Его сейчас провели. Каждый день убивают кругом сотни людей. Смерть стала привычной, потеряла свой таинственный облик. Убьют еще одного, к тому же предателя. Все это так. Почему же мне так жутко и стыдно? Сердце не хочет мириться с мыслью, что этого человека поставят спокойно и, не воя и не ошалев, не идя в штыки, не под снарядами, а тихо, аккуратно, у стены сельского амбара, убьют. Это хуже боя, в котором убивают тысячи людей. Это — невозможно.

VI

Огромный широколицый крестьянин из Уфимской губернии. Осколок снаряда попал в ногу. Он лежит теперь в французском госпитале. Стиснул зубы, чтобы не стонать. На соседней койке — маленький кудрявый парикмахер из Перпиньяна; у него легкое ранение, но он очень нервничает, капризничает и время от времени, как ребенок, начинает плакать. Сестра утром дала русскому папиросу:

— Вот закури — полегчает.

Он вынул изо рта и показал на соседа:

— Вы, сестрица, лучше ему дайте.

Сейчас его осмотрел врач, и сестра решается сказать:

— Придется ногу отнять. Да ведь и без ноги жить можно... На должность тебя определят, пенсию положат. Ничего нельзя сделать: заражение. А тебе понюхать дадут— газ такой, и больше не будет больно. Ничего не будешь чувствовать.

Солдат молчит. Он о чем-то думает. А четверть часа спустя подзывает сестру:

— Сестрица, а сестрица!

Она сразу начинает успокаивать:

— Правда, обойдется все... Ты не почувствуешь даже, как резать будут.

— Я не про то... А вот что, сестрица, может этих газов мало, так вы уж ему отпустите. Больно томится он, сил нет. А я и так стерплю, пущай хоть сейчас режут.

VII

В Парижском госпитале Ванв у койки русского ефрейтора Степана В.—французская сиделка. Она рассказывает о том, что немцы сделали с ее родным городом Люневилем. Русская сестра переводит.

— ...И целый квартал сожгли. Тридцать два дома. А мужчин повели за город и расстреляли. И церковь св. Иоанна сожгли и еврейскую синагогу, и зашли к соседям, схватили старуху...

Долго рассказывает, солдат вздыхает:

— Нехорошо это, бедненькая!

А потом француженка, улыбаясь, говорит:

— Но вот вы, русские, когда придете в Германию, вы им покажете. Я только одного хочу, чтобы всех немцев перебили.

Сестра переводит. Степан смотрит недоумевающий, растерянный.

— То-есть как это?.. Что мы звери, что ли?.. Нет уж, барышня, это не дело...

VIII

Я его встретил на улице и сразу узнал. Бедный «пожиратель змей». Теперь у него две нашивки — капрал, а рука на перевязи. Это было лет пять тому назад. На ярмарке у Бельфорского льва я увидел барак с зазывающей вывеской: «Индеец Орлиный клюв, питается исключительно змеями, пожирает на глазах у публики 300 живых гадюк». Зашел. Какой-то человек, вымазанный коричневой краской с петушинами перьями на голове, испуская дикие крики, долженствующие свидетельствовать о наслаждении, ел ужей, запивая их молоком. Порой на лице мелькало невыразимое отвращение, но быстро оно сменялось обезьяньими гримасами. Вечером, проходя мимо барака, я увидел индейца, уже смывшего краску, в засаленном котелке. Я позвал его в бар. Разговорились.

— Раньше я чистил сапоги. Потом стриг пуделей. Теперь ем змей. Это очень тяжелый заработок. Я получаю пять франков и за это я должен с семи до одиннадцати глотать эту гадость. Я пью молоко, чтобы все вышло назад, monsieur.

— Вы не понимаете, monsieur, почему я стал «краснокожим»? Но у меня пять «белых» ребят. Прекрасные дети. Старший Луи в школе, а маленькой Тоннете я купил сегодня волчок.

Мы, снова вспомнив старое, зашли в кафе. «Пожиратель змей», показав на руку, стыдливо усмехнулся.

— Ужасно глупая история. Под Сан-Миэлем продвигались мы. Один «бош» кричит, зовет — раненый, руку оторвало. Ну, что с ним делать? Ведь назад,—это значит

снова под обстрел. А так просит. Я и подумал — чорт возьми, может у него ребята там и все прочее... «Дети у тебя, что ли?» «Две девочки. Спасите, комрад!»

— Ну, а если так... Потащил его. Угодило вот, кость перебита. Ужасно глупо. Да как-нибудь проживу. Что ж вы о моих не спросите? Луи кончил с наградой, а Мэри такая красавица, право, на нее все смотрят...

IX

Молодая парочка, оба—итальянцы. Они недавно повенчались и, не замечая посторонних, все время нежно переглядываются, краснеют, говорят друг другу какие-то только им понятные слова. Они приехали из Бриндизи. Пароход «Элена» был потоплен немецкой подводной лодкой. Спаслись немногие. Он рассказывает:

— Спустили последнюю шлюпку. Туда попали оставшиеся женщины, среди них и моя жена. Несколько мужчин. Я остался на палубе. Тогда жена начала в ужасе кричать: «Беппо, Беппо!». Вы понимаете, она меня очень любит. Скажи, Джулья, ты ведь любишь меня? А рядом с ней сидел француз, так, невыразительный какой-то. Вот он и говорит ей: «Успокойтесь, мадам, я уступаю свое место». Я спрыгнул. Мы видели его еще довольно долго. Он держался на доске. Потом в Марселе заинтересовались, что стало с ним. Оказывается, потонул. Джулья, крошка, помнишь, как мы в Марселе катались?..

Джулья краснеет, улыбается. Потом говорит мне:

— Я потом думала, почему он сделал это? Мне кажется, что из вежливости: ведь французы очень вежливый народ.

Они снова шепчутся и смеются. «Невыразительный» француз утонул. Они сейчас уйдут вот в ту аллею и будут сладко целоваться. Оба порадуются тому, что не они на темном дне, и похвалят французскую вежливость.

ЖЕНЩИНА

I

Ее нет. В окопах, в землянках, в развалинах деревень, в лагерях только мужчины, миллионы разноплеменных мужчин. Она всюду. В рассказах и в мыслях, в грубых анекдотах и в тоскливых песнях, в легких грезах и в мучительных плотских сновидениях. В эти знойные июльские ночи, засыпая под обстрелом, вдыхая отвратительный сладковатый запах тления, они слышат слова ласковые и бесстыдные, дышат ароматом пудры и женского тела.

От нее тянутся тонкие, но неисчислимые нити. Каждый день приносят мешки с письмами. Все в этих клочках бумаги не похоже на правду—наивно, чудовищно, невозможно. Как странно капралу Лебе, обросшему бородой, покрытому корой грязи и вшами, забывшему все на свете, кроме пулемета, плохого рома и площадной ругани, что кто-то зовет его: «мой нежный зяблик». Читают и вспоминают. Все кажется нереальным: комната с белыми занавесками и цветами, затейливое платье, медальон на тонкой шее, слова любви. Ее нет, может быть ее и не было и не будет, и она—лишь бред этих обреченных на смерть людей...

Ее изображения (тысячи различных, но все ее) они хранят в левом кармане мундира, между солдатским билетом и записной книжкой. За пять минут до атаки, в скучные осенние вечера «на отдыхе», в лазарете, в бреду перед смертью они жадно смотрят на эти засаленные, порванные, выцветшие карточки.

В первый день Рождества был я у Верденского форта Марр. Немцы открыли огонь по всей линии. Я зашел в землянку лейтенанта. Он, чем-то сконфуженный, попытался прикрыть ящик, служивший ему столом. Там стояла веточка елки и фотографическая карточка большеглазой курносой девушки.

— Это моя елка,—сказал он, покраснев.

У него были еще детские пухлые щеки и мечтательные, слегка близорукие глаза.

Вошел вестовой с пакетом.

«Мы должны отразить атаку». Он вышел, но тотчас же вернулся, быстро схватил забытую фотографию и убежал.

Помню другую землянку — у Траси-ле-Валь. Мы вошли и отшатнулись от трупного запаха. У входа валялся рослый унтер. На лице его проступили синие пятна. В руке было скомканное письмо. Глупой насмешкой звучали бросавшиеся в глаза слова:

«Любимый... мы будем вместе... на веки...»

II

Поль Т., до войны поэт и сноб, теперь сержант линейного полка, показал мне карточку своей невесты. Холодное, прекрасное в своей неподвижности лицо, высокий лоб, длинные бесстрастные глаза. Показав, улыбнулся, а потом неожиданно, грубо выругался.

— Я—негодяй, развратное животное, но если бы вы знали, как ее ненавижу! Нет, не удивляйтесь, я ее очень люблю. Я вчера получил письмо. Она пишет, что скучает по мне, что во вторник была в театре «Жимназ», а в среду—на выставке у Дрюэ. Я ее вижу: четыре локона, широкая юбка, модная. Вы не знаете, это называется «клош».

Духи Убиган. У Дрюэ тихо от бархатных ковров, шопот, на стенах рыжие и зеленые «натюр-морты». Она скучает... Да, да, конечно! Она спит на чистой кровати, и мысли у нее чистые, сны спокойненькие... Свадьба, мама, муж, бебе... А меня завтра разорвет снаряд, и кусок мяса будет еще вонять. А сегодня у меня вши какие-то особенные, с крестами на спине, наши солдаты их зовут «крестоносцами». А я вот хочу эту «клош», юбку бабью, старую шлюху, все равно... Я никогда не любил мою невесту так сильно, как теперь! Но, это очень странно, я ее ненавижу.

— Я не хочу жениться, не хочу, чтоб она отдалась мне. Нет, заткнув рот, в углу... Понимаете?

III

В полуразрушенных деревнях, под регулярным обстрелом германских батарей, остались лишь немногие смельчаки. Солдаты, придя на отдых, сейчас же идут искать — кто остался и чем торгует. Ибо все, что остались, торгуют — торгуют вином, спичками, колбасой, бисерными веночками, женщинами. На всю деревню, на весь баталион две-три женщины: товар редкий и дорогой.

Вильикур. Маленький домик, случайно уцелевший рядом с разгромленной церковью. У калитки толпятся зуавы.

Спрашиваю: что здесь?

— Это хвост. К старухе. Что делать? Во всем Вильикуре только одна баба и та в бабушки годится.

В раскрытое окно видна старая крестьянка с желтым пергаментным лицом. У нее усы, на подбородке и в ушах растут большие черные волосы. Она поит молоденького франтоватого зуава кофеем из пузатой чашки в цветочках. Кажется, это действительно бабушка потчует

вернувшегося домой внука. Но потом достает зеркальце, пудреницу и с ужимками обезьяны пудрится, приговаривая:

— Если ты дашь луи — я буду с тобой, как с офицером. Другие подождут. Ну, поцелуй меня! Ты можешь меня звать — «Гортензия».

Зуав мычит. Товарищи у окна хохочут, ругаются и нетерпеливо окликают его. Хвост растет.

IV

Немного дальше в тыл — и все «благоустроеннее». В каждом городке публичный дом и ходят туда по расписанию. В Маи, где вместе стояли французы, бельгийцы, сенегальцы и наши, русские,—каждый народ имел свой день. Бельгийцы ходили по вторникам, русские — по пятницам. Об этом заботились власти. Были и особые любители, жаждавшие обойти закон. Один русский брал у бельгийца напрокат шинель, чтобы попасть «сверх нормы» в бельгийский день. Женщин доставляли в достаточном количестве: они являлись частью великолепного военного аппарата, как сапоги, или замороженные австрийские бараны.

После революции, в июле месяце, на отрядном съезде русских солдат официально был включен в порядок дня «вопрос о публичном доме». Выяснилось, что французская администрация согласна привезти в Ля-Куртин публичный дом лишь в том случае, если русские обещают нести внутренние караулы.

— Мы можем нести караулы только снаружи. Требование караулов внутри оскорбляет честь армии, — гордо воскликнул один оратор.

На что другой, менее искушенный во фразеологии, чистосердечно заявил:

— Чего зря болтать? «Честь!» Сам знаешь, без караулов нельзя. Забыл, что ли, как душат девочек?..

Места в этих публичных домах часто освобождаются. Прибывают другие. «Душат» ли, или просто не выдерживают тело и душа столь рьяного служения отечеству — кто знает? Об их смерти никогда не говорится в официальных бюллетенях, и никто не награждает их крестами.

V

Почти все письма кончаются словами надежды:

«Скоро твои «шесть дней» — мы увидимся»...

«Шесть дней» — так зовут отпуск. Едут стосковавшиеся к женам, любовницам, невестам. По дороге — Париж. Вокруг Северного вокзала блуждают толпы проституток, выжидая поездов с фронта. Вместе с луи они получают и затаенную страсть, и нежные признания.

На-днях в маленьком баре слышал я занятную беседу. Рыжая Люси, припухшая от абсента и дневного сна, делилась впечатлениями со своим другом и покровителем, юрким гарсоном.

— Я теперь работаю с «отпускными». Это—не то, что штатские. Конечно — выгодней, но очень утомительно. Глупые! Они все хотят меня расшевелить. Есть такие, что жалуются: «Меня вчера чуть не убило... тебе не жаль?..» Я жалею, и тогда они, торопясь, задыхаясь, говорят мне столько нежностей, сколько я не слыхала за всю жизнь. Правда!.. Будто я невеста. Что ж ты смеешься? Я прямо говорю — приятно, только надоедает. А другие иначе. Хвалятся, сколько «бошей» закололи, и все штыки, да трупы, да кровь... Думают, я пойду на это. Тоже надоело... И кидаются, как звери... Вчера вот блузку хорошую изодрал...

— А потом? — полюбопытствовал гарсон.

Люси зевнула — не выспалась.

— А потом?.. Потом, как все...

VI

В яркий апрельский день приехали мы в Ам — городок, только что очищенный германскими войсками,—и сразу услыхали:

— Одиннадцать ушли...

С негодованием солдаты и жители передавали друг другу эти слова. Одиннадцать женщин, не насильно, нет, по доброй воле, уехали с немцами. И не беспутные девки, а добродетельные жены. Почтенный нотариус даже речь произнес.

— Их мужья умирают, а они дарят любовь убийцам. Эти твари лишены нравственного чувства.

Пересуды росли. Какие-то старые бабки отзывали нас в сторону и нашептывали:

— Вот булочница m-me Б. лейтенанта потчевала, он у ней два раза в гостях бывал—понимаете? А племянница m-me С. одному «бошу» бесплатно рубаху выстирала—понимаете?..

Над всеми молодыми женщинами собиралась гроза подозрений, догадок, клеветы.

Одну обличили. Помогли чересчур наблюдательная старуха и приехавший из Парижа «поклонник», щуплый, глуповатый, но «герой» — потерял на войне ногу. Учинили допрос. Дородная красивая баба — она не труслa, не отпиралась, но с усмешкой говорила старухе:

— Тебе-то что, завидно?.. На тебя ни один, даже самый паршивый, глазком не взглянул — кончился твой век... ничего не поделаешь...

Поклонник, оправив крест на груди, торжественно и и строго заявил:

— А я думал, что ты патриотка.

Баба озлилась и кинулась на него:

— Я—женщина, вот кто я. Он—настоящий мужчина, с ним и жила. А у тебя хоть и сто крестов будет — не

пойду. Расстреляют меня — не пойду. Моя сила — не получишь! И вы все хотите, да не возьмете, а с «бошем» пошла. Потому хотела.

Потом нам сказали, что она арестована «за содействие неприятелю». Вероятно, ее расстреляли.

VII

Возле Жербевиера в крепком приземистом доме жил старик фермер. В августе четырнадцатого года пришли три немца, хотели пристрелить хозяина, — сжалились, отобрали коров и золотые часы, а старшую дочку Жанну затащили в амбар. Потом ушли.

Сначала все только плакали, затем стали думать: сказать или скрыть? От Жанны — ни слова: ходит, как мертвая. Только раз, когда провели мимо деревни пленных немцев, начала она в ужасе биться:

— Не хочу!.. Уберите их!..

Потом увидали соседи. Все знали, жалели, совет давали:

— В Жербевиере бабка-специалистка все сделает.

Мер принес «Пти Паризьен» и торжественно произнес:

— По закону она имеет право «боша» не рожать.

Но Жанна не послушалась ни отца, ни мера. Ни к доктору—«по закону», ни к бабке-«специалистке» не пошла. Молили честь спасти, грозили проклятьем.

— Что же, ты хочешь «бошей» расплодить?

Молчала. А в мае родила мальчика. Соседи снова вздыхали и жалели.

— Отдайте его в воспитательный дом. Не растить же такого наследника! «Бош»!

Потом ходить перестали. Часто кто-либо из семьи фермера, проходя мимо бабок, судачивших на крыльце, слышал это быстрое словечко: «бош», «бош»... Не ходили,

косились, негодовали даже. Дома было тихо и страшно. Никто на «боша» взглянуть не хотел. Когда он пишал, фермер только хмурился, а Жанна боязливо прижимала к себе нелепое тельце. Наконец, старик не выдержал.

— Отдай эту гадость, слышишь, сегодня же отнеси, или убирайся вместе с ним.

Ничего не ответила. Взяла свои сто франков и подарок бабушки — браслет, поехала в Нанси, оттуда в Париж. Попала в «Общество помощи беженцам из Лотарингии». Дали работу — шить солдатские рубахи. За рубаху — пять су. Жанна ютится на мансарде, голодает, но «бош» с ней. Убаюкивая и лаская, она зовет его: «мой маленький бош», и это обидное слово полно невыразимой нежности. У него водяные глаза, квадратный череп и рыжие волосики. Он будет типичным «бошем» — каким-нибудь Карлом или Фридрихом.

Как-то на прошлой неделе Жанна разговаривала с консьержей,—болтливой, но доброй старухой.

— Если бы я знала, кто из трех?... О, как они были отвратительны! Но знаете, мне кажется, что я люблю отца моего «боша»...

VIII

Маленькая черноглазая Марго — натурщица. Когда она не позирует и не спит, ее можно найти в захудалом кафе «Ротонда», где собираются художники. Здесь она встретилась за месяц до войны с рослым угрюмым нормандцем Корвэ, скульптором-кубистом. Здесь они шептались, порой по-детски ссорились и в неосвещенном углу целовались. В первые же дни мобилизации Корвэ ушел на войну. Марго плакала — едва напудрит заплаканное личико, как снова катятся слезы. Потом работала. Французы-художники—на фронте, иностранцы разъехались, академии закрылись.

Марго вязала носки, шила солдатские штаны, вырученные гроши откладывала и каждую субботу посылала Корвэ посылку — снедь, папиросы, перевязанный голубой ленточкой шоколад. Письма писала, конечно, в «Ротонде» и советовалась с друзьями, как лучше написать. Спрашивала меня:

— Как ты думаешь: «мой нежный зверек, целую твои глазки» — это достаточно ласково?

Когда Корвэ приезжал в отпуск, маленькая Марго висела на нем, жадно ловя каждый взгляд, каждое редкое слово. Даже хозяин «Ротонды», старый кабатчик, склонный к скептицизму, умилялся:

— Чорт возьми, она умеет любить, эта девочка.

Осенью пятнадцатого года от Корвэ перестали приходить письма. Марго ждала, плакала, бегала по всяким учреждениям, потом замолкла. Эта болтушка, которая пяти минут не могла высидеть на одном месте, не поцеловав в озорстве старого лакея, или не перевернув стакан, по случаю новой шляпы подруги, теперь часами молчала за своим столиком. Так прошла зима. А весной, как-то утром, Марго вбежала в кафе, плача и смеясь, не в силах вымолвить слова, размахивая смятой открыткой.

Корвэ писал, что он был ранен в Аргоннах и взят в плен. Ему отняли левую ногу. Он оправился и просит не тревожиться. Через три недели, при ближайшем обмене инвалидами, он вернется на родину.

— Он жив... Как я рада... Господи, без ноги... Мой бедный большой слон!.. Но он вернется... Я буду ухаживать за ним...

И со слезами и улыбаясь, сказала мне:

— Если б у него отняли даже две ноги — все равно я бы спала с ним...

Начала готовиться к приезду, изучать расписания, в сотый раз переделывать старую шляпку,

— Как ты думаешь, эта лента ему понравится?

Корвэ приехал еще более молчаливый и угрюмый. Его глаза как будто погасли. Он просидел вечер в «Ротонде» за кружкой пива, словно не слыша ни дружеских приветствий, ни восторженного щебета Марго. На следующий день его не было видно. Вечером пришла Марго и плача заявила всем:

— Он меня больше не любит. Да, да, я знаю наверное! Он сказал, что ему нужна нога, и еще... еще... духовная подруга... Искусственная нога стоит очень дорого, а духовная... я очень глупа, но я не знаю, что это такое: «духовная подруга»...

Напрасно утешали. Напрасно Люси советовала переделать шляпу, а Габриель — устроить с кем-нибудь «для виду» легкий роман. Марго снова, как зимой, замолкла. Так шли дни.

Но в один вечер «Ротонда» была потрясена необычайным событием. Марго, неутешная Марго, весь вечер пила шампанское и целовалась со старым американцем, торговцем свиньями в Чикаго, который приехал «посмотреть Европу во время войны», а пока что — застрял в «Ротонде». И потом, ни на кого не глядя, уехала с ним в автомобиле. Люси презрительно усмехнулась: «вот и утешилась».

Марго три дня не было в «Ротонде». Она пришла утром — спокойная, но озабоченная, с синевой вокруг глаз. Отвела меня в сторону и, показав какое-то письмо, спросила:

— Это хорошо написано?

Вот что было в этом письме:

«В Общество искусственных ног «Селект». Прилагая при сем триста франков, прошу вас выслать одну искусственную ногу monsieur Корвэ по адресу... Прошу вас не

писать ему, что вы получили деньги, но сказать, будто вы рассылаете ноги для рекламы»...

Марго еще сказала мне:

— Я прочла объявление в газете. Эти ноги — как настоящие, даже нельзя узнать. Только ты никому не говори, а то он узнает. Теперь у него будет нога... А духовную подругу он найдет... Правда?..

РЕЛИГИЯ

I

В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВОЙНЫ во Франции любили говорить о «возрождении религиозного чувства». В церквах появились молящиеся мужчины. Социалисты неодобрительно косились и шептали о «клерикальной опасности». Правые, предчувствуя грядущие выборы, радовались, видя в каждом коленопреклоненном гражданине избирательный бюллетень.

После победы при Марне в Нотр-Даме была назначена торжественная месса. Пришла шумливая любопытствующая толпа — та самая, которая приходит к тюрьме Сантэ взглянуть на казнь, глазеет на принца Монаккского и часами стоит у рождественских балаганов. Газеты волновались, спорили: должен ли явиться представитель правительства на мессу, и, если он явится, как истолковать сей важный акт?

В древнем соборе торжественно звучала латынь. Осенние лучи, сияя сквозь «розу», медвяным и сиреневым светом заливали молящихся. А толпа, расходясь, кричала:

— Yive Dieu! Yive Joffre!

II

Теплый октябрьский полдень. На просторной площади перед Версальским дворцом, рыжей от павших листьев, выстроен баталион запасных. Это — парижане, большей частью рабочие. После долгих дипломатических объяснений аббат получил резрешение сказать напутственное слово. Солдаты греются на солнце, крутят папиросы и, слушая о духе святом, лукаво посмеиваются. Вместе

с аббатом приехали две дамы-патронессы. Проповедь кончена. Дамы вынимают мешочки.

— Кто хочет получить образок с изображением богоматери Лурдской?

Одни подходят сразу, другие неуверенно, колеблясь. Рядом со мной два солдата советуются: брать—не брать? Одного я знаю: это—слесарь, по убеждению крайний анархист и «вольнодумец». Он ворчит:

— На кой чорт? Знаем все эти чудеса!..

Товарищ уговаривает:

— А как знать?.. Угольщика на улице Беллони знаешь?.. Ну вот, пуля попала у самого сердца в образок и не пробила его... И все говорят, что это помогает... Как знать?

— Ну, на всякий случай возьму,—бурчит анархист. Со смущенной улыбкой берет образок и прячет его тщательно во внутреннее отделение кошелька.

Вчера в радикальной газете было требование запретить раздачу религиозных изображений. Завтра в клерикальной газете будет описание проводов в Версале и высокие слова о том, что Франция вернулась к богу. А я гляжу на этих людей, которые поют непристойные песни о святой деве и которые ни за что не расстанутся теперь с крохотными образками, гляжу и думаю не о «религиозном возрождении». Нет, я вспоминал Али-Ша, доброго сенегальца, который подарил мне «гри-гри»—три немецких зуба в оправе:

— Это от пули. Носи на сердце, и пуля не тронет.

III

У англичан все устроено комфортабельно и практично. «Общество молодых христиан» соорудило на фронте сотни передвижных бараков. В воскресенье утром барак—церковь, и солдаты молятся. Вечером в нем кинематограф, и, вместо пастора, солдат веселит неутомимый Макс Линдер. На

стенах—плакаты, сочетающие религиозный дух с воинским уставом и житейской мудростью:

«Возлюби господа и слушайся своих начальников».

«Господь смотрит на тебя—будь умерен в употреблении спиртных напитков».

«Помни о твоей жене или невесте и остерегайся дурных заболеваний».

IV

Католики ведут усиленную пропаганду—кроме образков раздают картинки, духовные брошюры, молитвенники. Особое внимание они уделяют больным и раненым. Недавно я был в госпитале X, на собрании, устроенном католическим обществом. Солдаты предпочитают играть в карты, поэтому нужны чрезвычайные меры, чтобы завлечь их. Длинные столы убраны цветами, каждый солдат получает кофе, бисквиты и еще пачку папирос. Сначала аббат, с хитрым бабьим лицом, говорит проповедь. Она коротка, чтобы не утомить слушателей, и достаточно приправлена политикой: война—наказание Франции, погрязшей в вольнодумстве, и проч. Потом—музыка. Какой-то солдат поет непристойную песенку о Зизи, потерявшей корсет. Припев все подхватывают. Отдых, фрукты, вино. Наконец устроители виновато и робко просят присутствующих спеть хором молитву. Текст с картинкой раздается всем. Молитву поют на мотив известных куплетов «о бедной красотке Нана», обращена она к «покровительнице Франции пресвятой Марии». Солдаты охотно поют о деве Марии—так же, как полчаса тому назад пели о Зизи. Молитва кончена. Танцы с пришедшими из города барышнями.

V

Сочельник. Разрушенная деревня близ Вердена. Немецкие батареи замолкли, и солдаты вылезли из погребов. Капитан

разрешил служить рождественскую мессу в большом амбаре, почти не пострадавшем от обстрела. Только в одной стене брешь, и на земле валяется осколок большого снаряда. Уж поздно. На дворе необычайно тихо, ясно, морозно. Вызвездило. Солдаты—в покрытых бурой глиной шинелях. Они всего час тому назад пришли с позиций и не успели почиститься. Зато успели разыскать кабатчика и опрокинуть по литру вина. Они веселы и шумят. Это все бургиньонцы—виноделы и пастухи.

Рядом со мной здоровый краснолицый капрал рассказывает артиллеристам о вчерашней атаке у Морт-Ома:

— Ну и поработали!.. Жалко, винтовку свою пришлось оставить... Воткнул я в «боша» штык, высоко хватил. А назад не лезет. Я на живот ногой встал, тащу—не идет... Так и пришлось бросить...

От «рождественского рассказа» мне несколько не по себе. Спрашиваю: почему не начинают мессу? Где же священник? Капрал поворачивается ко мне и, приветливо улыбаясь, представляется:

— Я исполняю обязанности военного священника. До войны я был кюре в Монбаре, департамент Кот-Д'ор. Мы ждали капитана, но он пришел. Теперь можно начать.

Капрал-аббат напяливает поверх шинели сутану, покрывает кружевной накидкой ящик из-под снаряда, теперь—алтарь. Уста, только что твердившие о распоротом животе, возглашают:

— Pax in terra!

Солдаты пьяненькими голосами, не в лад, поют.

Вдруг—грохот разорвавшегося где-то недалеко снаряда. Ветер врывается сквозь дыру и гасит восковые свечи. Месса кончена.

«ЧЕРНЫЕ»

I

ЛЮБОПЫТНЫЕ. Они выглядывают из теплушек. Все страшно непонятно и интересно. Огромный вокзал, и под стеклянными сводами десятки ревущих чудовищ. Вот привезли 155-м. орудия—недоумевают, что это? Сегодня утром они прибыли на пароходе из своей Сенегалии. Они еще не устали. Не научились безразличию. Они выходят из вагонов, прекрасные головы гордо закинуты назад, на овальных нежных лицах светящиеся глаза. У многих из них на руках обезьянки, такие же подвижные и любопытные. Только холодно и неграм и мартышкам; зябко жмутся они друг к другу.

Но вот они заметили на перроне земляков. Один с марлей вокруг головы, другой без ноги, третий густо и непрерывно кашляет. Новенькие что-то кричат им на своем резком, гортанном языке. Те отвечают. Я не понимаю слов, но я чую, что они спрашивают друг друга: «откуда?..»

Спросите любого парижанина — откуда и почему здесь сенегальцы? Он искренне ответит вам: «защищать Францию», или: «прельстились жалованьем», или, наконец: «любят драться». А сенегальцы вам расскажут, как в глухую деревню, среди лесной чащи, где они били зверя и закидывали уду, пришли белые. Белые схватили «Марабута» (духовное лицо) и сказали: «Или давайте нам солдат, или мы повесим «Марабута». И увели их с собой, погнали на пароход, потом сюда...

А те трое уже были там. Они знают, что значит эта странная вещь с большим носом, на которую, улыбаясь, смотрят молоденькие. Они знают теперь, почему сенегальцев зовут «ударными войсками».

Они знают дождь и сырые окопы. Знают, что скоро издохнут эти обезьянки, солдат погонят под огонь и те, что вернутся, будут зябнуть, чахнуть и ждать конца. Ибо нет обратного пути в далекую прекрасную Сенегалию.

II

В Сан-Рафаэле лагерь сенегальцев. За фешенебельными отелями на пустынном берегу моря — африканская деревушка. Новичков учат. О, как они прилежны, как стараются передать каждый жест начальника! Зачем — они не знают, но какая выправка, как маршируют, как изображают атаку!

Учат унтер-офицеры и адъютант. Крохотные и уродливые «белые» — они стараются быть величественными. Они беспощадно жестоки. Горе тому, кто не поймет, что значит это движение руки. Все начальство — из «иностранного легиона» — немецкие дезертиры, испанские контрабандисты, французы-убийцы, главным образом убийцы, коллекция уголовных: торговцы белым товаром, громилы, палачи. Сенегальцы слишком послушны, слишком кротки, чтобы их могли посылать на смерть обыкновенные люди, для которых убийство еще не стало профессией.

Есть и другие учителя. Девочка лет двенадцати вечером учит сенегальцев читать. Они с увлечением хором повторяют урок, и то, что из букв выходят слоги, из слогов — слова, им кажется чудом. На книжке написано: «Начальное руководство для колониальных войск». Сенегальцы с улыбкой удовлетворения читают:

— Франция — любящая мать всех туземцев.

III

Спросите, сколько ему лет. Он подумает и ответит: «90». Другой скажет: «50», третий—«10». Почти все не знают своего возраста. Они умеют считать до десяти и показывают пальцами, сколько у них детей. Они не знают толком, где они. «У белых во Франции». «Нет, это не Франция, а Марсель». С кем воюют? «Не знаю». «С немцами». «Нет. Капрал сказал, что не с немцами, а с бошами». «С белыми». Почему? «У принца Пакаре (Пуанкаре) отняли золото», «забрали Англию»,—«потому, что всегда война».

IV

Большинство — идолопоклонники, но много мусульман. У всех амулеты: клыки кабанов, немецкие зубы, забавные деревянные божки. Дамы — рьяные католички, занимаются обращением негров на путь истинный. Очаровательная маркиза З. уговаривала одного сенегальца:

— Позволь тебя окрестить. Я подарю тебе золотой крестик и много пирожных.

— А это не больно?

При большом стечении дам высшего общества—графинь Х. и виконтесс У. — сенегальца крестили в церкви Мадлен.

Час спустя, сидя в светлой кондитерской Румпельмайера, негр, очарованный великолепием церемонии, обилием пирожных и добротой маркизы З., шептавшей о «сладчайшем Иисусе», вынул маленького уродливого идола плодородия.

— Возьми, вот это бог. Я дарю тебе его, дарю за то, что ты — добрая. Проси у него, чтобы больше мужчин было и детей...

V

В Марселе, возле порта — ярмарка. Здесь всеми способами надувают «низшие расы»: сенегальцев, малайцев,

аннамитов. Оловянные кольца с яркими стеклышками, золоченые кошельки, ленты. Вокруг палаток—толпы сенегальцев. Они благоговейно взирают на эти блага культуры и охотно дают за них все свои су.

Рулетка. Ставка—два су. Выигрыш—три, пять или (это почти невозможно) десять леденцов. Рядом лавочка, и в ней, без всякого риска, на два су дают десять таких же конфект. Высокий соммалиец в третий раз ставит. Он растерянно улыбается, глядя на хитрую машину. Достает еще монету, вздыхает, от волнения закрывает глаза. Наконец-то!.. И он убегает, сжимая в руке три яркозеленых леденца.

Впрочем, белые заботятся не только о развлечении черных, но и о спасении их души. Среди лавочек и балаганов—барак «Армии спасения». Негры, аннамиты, несколько индусов—видно; думавшие, что здесь цирк или кинематограф—растерянно переглядываются. Их учат петь псалмы. Потом сухощавая добродетельная дама говорит проповедь.

У входа один малаец хитро подмигивает мне:

— Добрый капрал говорит: надо много убивать. Добрая дама говорит: не надо убивать. Я говорю: надо немного убивать.

VI

В Сан-Рафаэле возле каждого дома—столики. Обыватель, купив дюжину бутылок пива, открывает «кафе» для сенегальцев. Сенегальцы приходят компанией, очень вежливы, и платят столько, сколько спрашивают. А так как спрашивают много, то берут на всех—одну бутылку. Пива чуть-чуть на донышке,—зато сидят за столом, да еще часто вместе с хозяевами. Угощают хозяйку и в упоении скалят свои сверкающие зубы.

Француженки ими увлекаются. Светские дамы ходят под вечер в лагерь глядеть на их игры. Молодые сенегальцы,

голые, в узких поясках, борются друг с другом, кувыркаются в траве, купаются. Действительно, они очень красивы, с девическими стройными телами.

Негры тоже заглядываются на белых женщин. Но они слишком простосердечны и наивны. Какая-то мастерица строит черному глазки; он удивленно смотрит на нее. Она толкает его — он вежливо сторонится. Это—новичок. Пожившие несколько месяцев во Франции уже умеют закатывать белки и целовать ручку.

В Марселе я встретил соммалийца, который покупал в палатке грошовую брошку и клетчатую нижнюю юбку. Он объяснил мне, что это для «дамы», которая прислуживает в кафе. Он принесет ей это сегодня и предложит стать его женой. После войны он повезет ее в Соммалию. Это—свадебные подарки. Прямо, ясно и понятно.

Порой за эту прямоту приходится жестоко расплачиваться. Возле Сан-Рафаэля жила молодая крестьянка. Муж на войне. Она сошлась с сенегальцем. Муж вернулся в отпуск, нежданно, вечером. Сенегалец выбежал навстречу.

— Тебе что?

— Я — муж.

— Нет, теперь я муж.

Француз кинулся на него. Защищаясь, негр отбросил мужа, да так удачно, что тот к утру помер. «Убийство сенегальцем французского сержанта». Убийцу судил военный суд. На суде он пытался объяснить:

— Тот прежде был. А потом она сама меня взяла.

Вины своей так и не понял. Его расстреляли.

VII

Сенегальцы очень подружились с русскими солдатами. Их сблизили детское прямодушие, наивность, гостеприимство. Говорили каждый по-своему, друг друга не понимая,

но могли за бутылкой пива, приветливо улыбаясь, часами просиживать вместе. Русские поясняли:

— Ты не смотри, что он черный. Душа-то у него какая, вот на что смотри.

После революции французы обвиняли русских в «революционной пропаганде» среди сенегальцев.

— Помилуйте, послужили они месяц вместе, и теперь сенегальцы требуют себе тоже «soviet».

Оказалось, что под словом «совьет» сенегальцы понимали отпуск на родину.

Я знал одного русского солдата, который так подружился с сенегальцем, что посылал ему в госпиталь чай, колбасу и табак, приговаривая:

— Вот уж истинно!.. Сколько живу, а такого человека не видал. А только почему черный он?.. Премудрость...

VIII

Когда черные впервые слышат артиллерийскую канонаду, их охватывает невыразимый страх. Многие падают ниц, точно перед божеством. Но и потом этот страх не проходит. Пушки они зовут, как дети: «бум-бум», и при одном этом слове пугливо озираются. Они не боятся смерти и в рукопашном бою поражают всех отвагой; но «бум-бум» — это нечто непостижимое, таинственное и ужасное.

Трудно заставить негров выйти из окопа под артиллерийский огонь. Вот что мне рассказывал один сержант:

— Вы и представить себе не можете, какая с ними возня. Приходится с револьвером выгонять. А я вот что придумал. Это у Дарданелл было. Я перед атакой семь человек повесил, и говорю: вот что будет с вами, если вы не выйдете. С ними иначе нельзя,—чтобы своими глазами видели. Ну и вышли.

IX

Зато когда выбегут, их никто не удержит. Скидывают обувь, бросают винтовки и с звериным ревом несутся вперед. У них большие, тяжелые ножи—ими они режут головы.

В плен не берут, и даже не понимают, что это значит. Когда сенегальцам поручили караулить поезд с пленными немцами, они спокойно и деловито всех перерезали.

У зарезанных выдергивают зубы: это—амулеты. Многие отрезают уши и нижут их в ожерелья. В госпиталь Фер привезли раненого сенегальца. Он держал что-то круглое в тряпке, думали—дыня или тыква. Когда начинались приступы боли, он зарывался под одеяло. К вечеру сестра полюбопытствовала и нашла голову немца. В бреду сенегалец еще впивался в нее зубами и грыз убитого врага.

X

Там, в Сенегалии, остались их жены. «Марабут» пишет за всех письма в африканскую деревню: «такие-то живы». Где-то черные жены слушают, есть ли еще в списке живых имя мужа. А в Марселе, на пустой площади, сидит сенегалец и, задумчиво глядя на чужое серое небо, заунывно поет. Я слышу только странные звуки: «чхе-кха». Капрал переводит:

Там, где полная луна
И шумит желтый тростник,
У меня жена Айша...

XI

Сенегалец Аличи — любимец всего госпиталя. Он уже выздоровел, но его не выписывают. Кто сумеет лучше ухаживать за больным, чем эта терпеливая черная нянька?

Он убирает палату, чистит картошку, играет с ранеными в карты и наслаждается. Одна беда: в этой пасмурной Франции так холодно, бедный Аличи не может согреться! Он готов влезть в камин и скулит:

— Холодно...

Он раскладывает свои богатства — перочинный ножик, три перламутровые пуговицы и новенький карандаш. Он просит сестру:

— Напиши мое имя. Что ты написала? Значит, все могут узнать теперь, что я—Аличи?

— Аличи, почему у тебя сзади такая затейливая косичка?

Аличи лукаво улыбается:

— Это «гри-гри», от злого духа и от «бум-бум».

— А если я ночью ее тихонько отрежу?

Лицо Аличи сразу становится серьезным и мрачным. Глядя на сестру в упор, он деловито говорит:

— Тогда я тебя убью.

XII

На поросшей травой площади маленького южного городка я и пятилетняя девочка, оба мы с одинаковым любопытством разглядываем этого черного страшного человека. Он польщен вниманием, он старается порадовать нас. Показывает сначала трубку из кокосового ореха, потом бусы и, наконец, огромный, тяжелый нож, похожий на косарь.

— Этим ножом я режу «бошей».

Берет его в зубы, бежит. Потом машет им в исступлении, будто кося головы невидимых врагов, и дико, протяжно рычит.

Девочка пугливо жмется ко мне. Но через минуту негр играет с ней. Оба забывают о ноже и о «бошах». Она, тихонько послюнявив палец, пытается смыть чернь с его руки, а он, заинтересованный, смотрит, что из этого выйдет.

РУССКИЕ ВО ФРАНЦИИ

I

БЛУЖДАЯ БЕЗ ЕДЫ, прячась днем, крадучись мимо караульных, ползком на животе, через двойную преграду траншей, под огнем, избитые, голодные, полуголые, порой раненые—они что ни день приходят к нам. Это—русские, бежавшие из плена. Рассказ любого походит на фантастический роман, а этих рассказов я слыхал уже сотни. Бегут из Бельгии, из Эльзаса, из Австрии. Переходят Альпы и Вогезы. Переплывают Рейн, Маас и Изонцо. Переползают через окопы и проволочные заграждения. И рассказывают об этом просто и деловито, не понимая своей отваги. «Ушел — все тут»...

В шикарном госпитале на Елисейских полях лежит казак. Вокруг него юлят две дамочки. Фельдшер—за переводчика.

— Так что я вижу на четвертый день—большая река. Который «Рай» по-ихнему (Рейн). Пришлось переплыть. В ухо затекло, теперь болит. Ну вышел я, белье расстелил и сам сел на солнышке. Просушка...

Дамы щебечут:

— Рейн? Он переплыл Рейн! Спросите его—он, наверное, первый пловец?

Казак, удивленный вопросом, чуть презрительно усмехается.

— Плавать?.. Не приучен я к этому... Тоже... Баловство...

— Ты знаешь, Мари, я могла бы увлечься им. Это—настоящий варвар,—в упоении шепчет дама.

Их награждают крестами, показывают важным персонам, заставляют в сотый раз пересказывать, как они бежали. Они не гордятся, не поддаются тщеславию и только об одном просят—«скорей бы в Россию»: будто там ждет их светлая, радостная жизнь. Их не выпускают без присмотра. Посольство боится революционной пропаганды. Им сказали, что в Париже много русских, но это все—воры и убийцы.

— Вы, господин, из беглых воров будете?—спрашивает меня высокий скуластый пермяк. И, видя мое смущение, успокаивает:

— Что же, и среди таких хорошие люди бывают. Мимо нас много проходят, которые из Сибири... А вы, господин, не знаете, когда нас в Россию повезут?

Потом рассказывает:

— Поручик наш—сердитый, очень драться любил. «Понял?»—спрашивает. «Так точно, ваше благородие!» Так что в зубы. «Получил?»—«Так точно, ваше благородие!» А в плену, в штате[1] ихнем, офицер немецкий—сердитый. «Русс?»—«Так точно, ваше благородие!» В зубы. «Получил?» И еще, еще. Вот, господин, посмотрите—три зуба на войне потерял.

И богатырь с кроткими детскими глазами показывает мне беззубую челюсть.

— Хоть бы скорее везли нас!

II

Ваське Кудрявцеву четырнадцать лет. Он был год на войне, ранен, у него Георгий. При отступлении из Галиции попал в плен. Немцы прежде всего посекли малость, потом отправили вместе с другими к Лиллю на работы. Ваське не понравилось. Решил бежать. Подбивал других—боятся. Переполз через немецкие траншеи.

[1] Т. е. в городе.

— Уж подходил, да на грех угодил в канаву с водой. Шум поднялся какой! Стреляют и те и эти. Думаю—пропал. Бежать пустился и пою—вот как французы в лагере пели: «Алон абан дан ла Париж». Добежал.

Подкрепившись рюмкой коньяку, Васька потребовал, чтоб его вели «к самому главному французскому генералу». А в штабе дивизии вытащил из сапога записную книжку. В ней было точно указано расположение немецких батарей, складов и штабов, а расстояние вымерено шагами. И еще попросил:

— Завтра в полдень по этому лесу три выстрела дайте. Знак такой. Тогда товарищи переправятся. Говорил я им, а они хоть и большие, да трусы.

Действительно, на следующий день явились восемь беглецов. Ваське французы дали крест. Он изучает французский язык, ест пирожные и мечтает о торжественном возвращении домой. Только одно его смущает,—он тихонько признался мне:

— Мы питерские,—на Охте живем. Тятенька сапожным делом занимается. Сознания у него до удивительности мало. Когда я с Георгием на побывку приехал, он первонаперво меня выпорол, а потом уже хвастаться пошел. И теперича опасаюсь...

III

В парижском кафе француз-репортер интервьюирует двух русских, бежавших из плена. Иван Хоботов—простой мужик, из вятских; Геннадий Лукашкин—с претензиями: до войны он служил писарем в Царицыне. Сегодня утром, желая придать себе европейский облик, он решил купить пенснэ. Зрение—великолепное, и в магазине ему предложили монокль. Лукашкин обиделся:

— Я и за целый заплатить могу...

На его коротком круглом носу пенснэ никак не держится. Лукашкин надевает его в особенно торжественные минуты и, вежливо улыбаясь, говорит:

— Культура...

— Давно мы бежать задумали. Французы с нами находились, так я от них допытался, что здесь фронт недалече. Ну, а Иван—все свое: «Мы лучше к нашим». Известное дело—человек без просвещения: прямо из Кобленца в Вятку захотел. Неделю шли мы. Ночью идем, а днем прячемся. Благополучно через немецкие позиции перебрались. Потом бегом—и к французам. Спрыгнули, а там, прости господи, черные. Не знал я тогда, что у французов свои арапы имеются, струсил. А Иван—тот крестится, говорит: «Прощай, Геннадий!» Чуть они нас не прикололи. Бог спас—белый с ними. Я к нему: «Рус, рус». А все от книжного недополучения...

Француз хвастается Парижем. В Лукашкине подымается патриотизм.

— Сколько автомобилей здесь!

— У нас в Царицыне купец-любитель верблюдов завел и бега верблюжьи устраивает.

На верблюжьи бега француз ничем ответить не может. Он спрашивает:

— Почему они решились на такой отважный поступок?

Здесь Хоботов, все время молчавший, говорит:

—Да как это—«почему»? Домой захотелось...

IV

Марсель встретил русские бригады с музыкой и цветами. Солдаты молодцевато шагали и пели. Они не могли никому рассказать о своем страшном пути...

Говорили речи, подносили букеты. А через несколько дней разразился первый бунт. Ожесточенные солдаты убили

ненавистного им офицера. Девять расстреляли, многих посадили в тюрьму...

Боясь «растлевающего» духа, русское начальство всячески пыталось изолировать своих солдат от французов.

Русским было запрещено продавать вино. Конечно, все напитки они втридорога доставали через французов. Но когда русские солдаты приходили на отдых в деревню, будь то даже ночью, начальство барабанным боем собирало жителей и предупреждало: пришли русские, им нельзя продавать вина. Непонимающие высокой политики, французские крестьяне решили, что так могут предупреждать лишь о приходе разбойников. А потом, какие же эти люди, которым страшно дать стакан вина? Запирали покрепче ворота и с опаской посматривали на русских дикарей.

Плохую роль сыграли и переводчики—французы, знающие русский язык. С солдатами они обращались возмутительно. Один раз при мне переводчик начал ни с того, ни с сего ругать площадной бранью степенного солдата, застывшего в страхе. Отвратительные и без того слова звучали особенно гнусно в устах иностранца. Я не выдержал и спросил, почему он позволял себе так говорить с русскими? Француз пожал плечами:

— Но с ними иначе нельзя. Спросите об этом ваших же офицеров...

Эти переводчики своей грубостью возмущали солдат против французов и они же рассказами о дикости и зверстве русских восстанавливали против них жителей.

V

Вначале русские с благожелательным любопытством подходили к французам, потом отношения испортились. Русские почувствовали презрение и оскорбились. К тому

же многое в французском характере не понравилось нашим. Жаловались:

— Есть у нас деньги—они с нами, нет—до свиданья...

— Поставлю я бутылку—сидит, как увидит донышко—слова не скажет, простыл след. Разве мне вина жалко? Обидно мне, будто я не человек...

— Он говорит: «товарищ». А какой он товарищ? Нет у них этого. Каждый сам по себе...

— Больно заносчивые. Увидал кашу—это, говорит, только свиньи едят. Я вот тоже видел, как они улиток жрут, а такого слова не скажу.

— Нас ругают: «грязные! свиньи!» А вы поглядите: сам напомажен, а целый год в бане не был. Только видимость одна. Они грязь не смывают, а внутрь загоняют...

Французы, в свою очередь, естественным, разумеется, непониманием русских нравов еще более обостряли рознь.

Наши солдаты на одном передовом посту завели обычай каждый день ругаться с немцами. После обеда это происходило. Покажется немец утром или вечером—сейчас же убьют. А в полдень ничего, и сами вылезают. Начинают ругаться: кто—по-русски, с толком, а кто—«швейн». Поляки среди немцев были, тоже по-русски здорово ругались. Так целый час забавляются. Раз увидал это француз-адъютант.

— Что ж вы не стреляете?

— Нельзя, потому мы ругаемся.

Француз сам выругался, схватил винтовку и ранил одного немца. Русские возмутились:

— Не дело это. Теперь они на нас подумают...

Много недоразумений было из-за пленных. Русские к ним относились ласково, давали суп, табаку. Французы толковали это как симпатию к «бошам». Вот одна из происходивших часто сцен:

Русские ведут в штаб пленного немца. По дороге—француз. Он начинает ножом отрезать пуговицы с шинели немца.

— Ты это, собственно, зачем?

— Сувенир.

— Вот что выдумал! Это ты оставь. Не лето теперь. Без пуговиц ветер гуляет. Слышь? Оставь его!

Через минуту—драка. Французы негодуют: «русские дружат с бошами». Русские неохотно сдавали пленных французам. Это—наши. Мы взяли. А они, небось, где сидят, да еще над ними куражатся. Пустой народ!

VI

Несмотря на недружелюбные чувства, русские многому научились во Франции.

— Это у нас все норовят драться. А у них скажет «мон женерал» и все выложит, как следует. Так прямо стоит—и никаких. В кафе еще придет, а там хоть полковник, хоть генерал сам—все равно сидит, кофе пьет.

Умиляла французская вежливость:

— Зайдешь в лавочку—сейчас тебе: «мосье». Приятно. У нас я хоть на сто целковых куплю, никто мне такого слова не скажет.

Сами заражались учтивостью. Любили заходить в кафе компанией и угощали друг друга по очереди кофеем. И то, что хозяйка приветливо улыбается, и то, что они пьют не чай и не водку, но кофе, приводило их в торжественное настроение. Пили и благодарили друг друга: «мерси».

Дивились, что французы много пьют, а никогда пьяных не видно.

— Устройство! Меня возьми—выпью, так тошно станет, беспременно полезу драться. А он пьет и песенки поет—и ему весело, и глядеть одно удовольствие...

Очень их поражали француженки.

— Я вот в Шалоне с одной сговорился, а подступить боюсь. Не наша баба. И шляпка на ней, и все говорит, говорит... Такую не облапишь.

В Парижском кафе видел я двух русских и с какой-то уличной девицей. Один выругался—товарищ цыкнул на него.

— Так она же по-русски не понимает.

— Все-таки при ней неудобно.

Оба чинно улыбались. Вероятно, бедная барышня никогда в жизни не сидела с такими церемонными кавалерами.

VII

С бельгийцами и англичанами мало сталкивались. Но когда приходилось быть вместе—ладили. Особенно дружили с арабами и неграми. После одной неудачной атаки, где в самом тяжелом участке находились русские и тюркосы, шли вместе араб и русский. Объяснялись:

«Рус — капут. Араб — капут. Француз—тра-ла-ла».

Среди русских было много башкиров-мусульман. Когда солдат-мулла хотел достать в Париже некоторые принадлежности для богослужения, его отправили к тюркосам. Мулла, знающий арабский язык, разговорился с солдатами. Сначала они перепугались, потом страшно обрадовались: так далеко есть магометане и еще знают их язык!

Этот мулла рассказал мне, что как-то сенегалец-марабут поделился с ним своими сомнениями: «Почему Аллах не сделал нас белыми?»

— Я показал ему, что я тоже не белый, а желтый. Видно Аллах любит и белых, и желтых, и черных. И знаете, что он мне еще сказал: «Аллах—добрый; он—черный или желтый, только не белый».

ТЫЛ

I

СОЛДАТ НЕ ТОЛЬКО УБИВАЕТ, он готов и сам умереть. Но есть миллионы и миллионы, которые, не умирая, не зная близости смерти, ежедневно—одни трудами, другие помыслами, третьи безразличием — участвуют в убийстве. Это—тыл. Тыл отравлен безнаказанным убийством, безответственной злобой. Он одурманен сознанием своей безопасности, животной радостью жизни, жаждой легких утех. Он развращен чтением рассказов о боях у уютного камина, дешевым патриотизмом и быстро текущими деньгами. Страшной болезнью заражены все классы и все возрасты. Ребята наслаждаются игрушкой, которая изображает повешенного немца. Старики бредят штыковыми атаками. Мирные рантье увлекаются спекуляцией. Дочери фермеров бегут в города, на заводы—«крутить» снаряды,—зарабатывают 20 франков в день и покупают пышные шляпы. Тыл лицемерно шепчет: «Когда же кончится эта война?» Но на деле он наслаждается ею. Он не понимает, что огонь не знает границ, что злоба, раздуваемая изо дня в день, может охватить весь мир; что не сегодня—завтра тыл может стать фронтом.

II

Есть громадные дома в Париже. Тысячи людей в них трудятся день и ночь. Скрипят перья, стучат «Ундервуды», гудят ротационные машины. Это—лаборатории, где разводят самых опасных микробов лжи и ненависти. На домах

горделивые надписи: «Матэн», «Журналь», «Эхо-де-Пари». Каждый француз за одно су приобретает очередную порцию искусно выработанного яда.

Вот предо мной собрание сегодняшних газет. В «Эхо-де-Пари» с восторгом рассказывают, как после отступления немцев, найдя вокзал покрытым человеческими испражнениями, комендант заставил пленных очистить его без метлы, руками: «Пусть помнят запах своих соотечественников». «Матэн» мало ужасов войны. Газета печатает фотографию обыкновенного штыка-пилы сапера, с подписью: «Зазубренные штыки, употребляемые всеми бошами для нанесения особенно мучительных ран». На второй странице—донос: в таком-то городе жители приносят пленным папиросы—«стыдно». В «Журналь» некий профессор предлагает «русским друзьям» постараться взять Кенигсберг, срыть старый замок и поставить столб с надписью: «Срыт в память уничтожения Реймского собора». О гибели базилики он говорит отнюдь не со скорбью, но со злорадством: вот, мол, на что способны «боши»... Наконец, «Пти Журналь» печатает статью о каком-то особом запахе, присущем всем немцам. И это все за один день...

Недавно «Матэн» вышел с подзаголовком: «Русские в пяти переходах от Берлина». Часов в пять журналисты распределяют между собой описание боев «от специальных корреспондентов»: «Вы, мой друг, на этот вечер съездите во Фландрию, а вы будете ночевать на миноносце у Дарданелл». В кабинетах редакции, подсчитывая строки, «очевидцы» измышляют победоносные статейки.

Офицеры и солдаты не верят газетам, больше того—они ненавидят их. Читают охотно только объявления и хронику—то, что напоминает им о мирной жизни. Крестьяне, лавочники, женщины читают и верят,—верят, что

война прекрасна, что стоит повесить Вильгельма и восторжествует правда, что все немцы—звери и что каждому солдату («пуалю») доставляет истинное удовольствие проткнуть штыком дюжину врагов. Верят—потому что хочется верить; от этого еще уютнее беспечному тылу.

III

Помню маленького редактора из Гренобля, пробравшегося на английский фронт. Он смертельно боялся далекой канонады, и его нельзя было уговорить дойти до штаба дивизии. Потом он описал все так, будто сам участвовал в боях и даже выгнал откуда-то германцев. Этот хвастунишка—истинный Тартарен,—дойдя до места прошлогодних битв у Сан-Назарета, заявил, что увезет домой череп немца. Он поставит его на камин и будет щелкать по носу. Он взял череп. «А что, если это француз?»—спросил кто-то. «О, спи спокойно, великий герой»,—воскликнул журналист, положив череп на место.

Один итальянский корреспондент долго добивался, чтобы ему разрешили присутствовать при казни шпиона, а добившись, в восторге, за стаканом вермута рассказывал:

— Этот негодяй имел наглость до последней минуты сохранять спокойствие.

Были корреспонденты из Южной Америки в очень пестрых галстуках. Они скучали и очень заботились о том, чтоб от ветра не пострадал их цвет лица. Один аргентинец, пробираясь между трупов, сказал мне:

— Ужасно скучное занятие!.. Скажите, вы не пробовали новые духи Герлэн?

Испанцы поражались, как это до сих пор не прогнали немцев?

«Вот, если бы мы...»

Пожалуй, лучше всех были американцы—в них хоть сохранялось истинное любопытство. Раз в автомобиль, в котором ехал корреспондент-швед, попал маленький осколок снаряда. Легко контуженный, швед очутился на земле. К нему подбежал, ехавший сзади в другом автомобиле, американец и, не помогая приподняться, не спрашивая об его состоянии, сразу вынул записную книжку:

— Скажите, пожалуйста, что вы почувствовали в тот момент, когда снаряд разорвался?

IV

Они даже из войны ухитрились сделать забаву.

— Ах, чепец сестры милосердия так идет мне!..

Сколько новых предлогов для флирта.

— Милый Поль, завтра интимное «матинэ» в пользу ослепших солдат.

Сколько веселых игр—можно обратить в католичество негра, навестить в госпитале очаровательного капитана, в приятном обществе, перебирая все сплетни, повязать немного какие-то—вот смешное слово — «набрюшники». Занятно, и все смотрят с уважением:

— Они—истинные патриотки, они так любят Францию.

Прежде всего они—сестры милосердия, утешительницы наших бедных «пуалю». На фронт их не пустили, зато они кинулись во все тыловые госпитали. Конечно, грязные работы не для них—это сделают и служанки. Нет, они призваны врачевать души. А для этого, тихонько от доктора, они пичкают тяжело больных конфектами, докучают раненым душеспасительными беседами и флиртуют с сенегальцами. Врачи их ненавидят, солдаты отмахиваются от них, как он назойливых мух, но они неутомимы и неистребимы.

В большом госпитале, в Париже, лежат тяжело раненые. Патронесса, маркиза О., устраивает завтра литературно-вокальное утро «для выздоравливающих». Правда, выздоравливающих во всем госпитале человека два-три, остальные бредят и мечутся в жару, но зато придет столько блестящих юношей из всяких «ведомств»...

— Madame,—решительно заявляет старший врач,—музыка очень тревожит больных. Потом завтра у нас две операции: проносить через зал невозможно. Вам придется отменить ваше «утро».

— Нет, нет. Это совершенно невозможно,—ведь я же разослала все приглашения.

Они—добрые католички. Говорят раненым:

— Кто завтра пойдет на мессу, получит отпуск в город на весь день.

А вольнодумцев ангельским голосом вразумляют:

— Вы, Либон, можете, конечно, не итти. Кстати вы совершенно здоровы, и я попрошу врача, чтоб вас выписали.

Кроме утешения солдат, они заботятся об их семьях. Открывают мастерские. Вот пришла молодая женщина—за день она вырабатывает три франка. Уголь стоит так дорого, мальчик плачет. Может быть, madame увеличит плату за каждую рубаху, вместо пяти—восемь су. Но madame негодует:

— Я связала носки и кашнэ бесплатно. Вы — плохая француженка. Мы вам платим не за работу, а потому, что ваш муж на войне.

У «плохой француженки» изможденное лицо, красивые припухшие глаза. Она злобно усмехается, берет су и уходит. Она никогда не простит.

Как смерть сближает людей, и как разъединяет их жизнь! На фронте пали былые преграды, в тылу выросли тысячи новых. И когда я гляжу на этих щебечущих дам — порой

вместо злобы, находит грусть. Они росли в светских монастырях и зачитывались Ростаном. Их научили выбирать шляпки к лицу и хорошо пудриться, любить не любя, не рожать детей, чтобы не испортить фигуры, изменять не мужу («fi donc!»), а любовнику... Их заповедями были светская хроника в «Фигаро» и психологические изыскания Бурже. Зимой — Ницца, весной — Париж, летом — Трувиль, осенью охота в Туренском поместьи... Пришла война. Иные из их партнеров по флирту или по танцам увидали подлинное лицо жизни. Бедные благотворительницы остались в золотой клетке, они прыгают и поют, как яркие попугайчики. Они расточают вокруг себя зло, сеют ненависть, сами того не замечая, не понимая даже, что такое зло: ведь их никогда не учили этому. Гляжу на них и почему-то вспоминаю очаровательные хижины Трианона, тысячи рабочих, умиравших на версальских работах, беспечную Марию Антуанету, которая касалась надушенного вымени хорошенькой коровы, мадригалы, лепет фонтанов и грозный гул толпы на парижском шоссе.

V

Во Франции, как и повсюду, имеются люди, избежавшие смертной повинности. Работают на оборону, служат в важных учреждениях, больны таинственными болезнями. Зовут их «embusquès». Жены ушедших на фронт их ненавидят. В каждом штатском видят «embusquès», косятся на него, порой травят. В комиссии по освидетельствованию призываемых специально включали родителей солдат, убитых на войне. Порой в их решениях чувствуется только злоба: «Моего убили, а ты еще жить хочешь»... Образовались особые «лиги против укрывающихся». Вчера я присутствовал при такой сцене. В вагоне подземной дороги

ехал молодой человек в штатском. Толпа, главным образом работницы и мелкие мещанки, зашумела:

— «Embusquès»!.. Эти негодяи прячутся в тылу.

— Я был на войне,—заявил штатский.

— Знаем... Мерзавцев расстрелять нужно.

— У меня свидетельство. Хотите — смотрите.

— Знаем... Теперь у всех такие свидетельства.

Тогда заподозренный поднес руку к лицу и через минуту показал толпе искусственный фарфоровый глаз. На лице зияла страшная яма.

— Вот что я потерял на фронте.

И толпа, удовлетворенная этой данью, замолкла.

VI

Кроме немногочисленных «embusquès», в тылу остались старики, ребята и женщины. Женщины — главная сила, строители жизни. Проскучав, протомившись, проплакав первые месяцы, они потом быстро вошли во вкус самостоятельной жизни. Почти все пошли работать, а труд теперь хорошо оплачивается. В рабочих кварталах многое изменилось. В квартирах стало уютнее, появилась новая мебель, безделушки. Ломбарды отмечают массовые выкупы старых закладов. Магазины на окраинах бойко торгуют столиками «Louis XV», пейзажами в золоченых рамах, усовершенствованными кофейниками. Работницы покупают модные шляпы, духи, лайковые перчатки. Прежде в кафе и в барах рабочих кварталов бывали только мужчины. Теперь там к шести часам — женский клуб. Стоят у стойки и за рюмкой «Пикона» беседуют о фильме «Красная маска», о новом главнокомандующем, о политике Англии, о ценах на уголь.

Фабричные города в районе Сан-Этьен и Лиона переполнены приехавшими из деревень женщинами и

чужеземными рабочими. Модные и парфюмерные магазины, кафе и притоны торгуют во-всю.

Среди женщин быстро расцвел алкоголизм. Они сходятся каждый день с новым иностранцем. Эти города стали очагами сифилиса, который отсюда течет в села и фермы.

Эмансипация женщин, о которой столько говорили, произошла невольно и быстро. Вкусив свободы, женщина больше не вернется на кухню ждать мужа целую неделю — усталого и злого, а в субботу — пьяного, веселого и тоже злого. Уж теперь, встречаясь в кафе, женщины с опаской обсуждают: что будет, когда война кончится и «они» вернутся? «Они» — это мужья.

— Я теперь зарабатываю восемнадцать франков в день. Из вчерашней получки я купила себе на платье, ребятам носки, поднос и портрет Жоффра. Каждый день бываю в кафе, по пятницам в кино, в воскресенье мы едем все за город. Я живу свободно с Жюлем, а Жюль надоест — возьму другого. Когда «он» вернется, пусть приспособляется.

Мужчины, приезжая в отпуск, замечают перемену и недовольны ею: «Мы в траншеях дохнем, а вы наслаждаетесь». Им не нравится, что жены уходят из дому, не говоря куда бывают в кафе, имеют политические суждения и вообще, отбились от рук. Утешаются: «Вот кончится война, вас прогонят с мест, тогда другое запоете». Уже выносят постановления, чтобы демобилизованных принимали обратно на службу вместо женщин.

Война родила войну между фронтом и тылом, между мужчинами и женщинами.

VII

Весной 1917 г. в Париже начались волнения среди работниц. Первые объявили забастовку «мидинетки» —

модистки. Кто был в Париже—знает этих беспечных девушек, которые в полдень и под вечер стрекозиным роем пробегают, смеясь и шутя, по большим бульварам. Модистки требовали жалованья и «английской недели» (в субботу кончать работу в два часа). За модистками выступили другие корпорации с такими же требованиями. Через несколько дней бастовали почти все работницы Парижа. Женщины ходили по улицам с плакатами, с яркими бантами, с цветами и пели:

Et on s'en f...
Vive la semaine anglaise!
Et on s'en f...
Nous aurons nos vingt sous!

(В «литературном» переводе: «Наплевать, да здравствует английская неделя! Наплевать, мы получим наши двадцать су»).

Полицейские вздумали разгонять демонстранток. Тогда они стали приглашать в шествие встречных солдат. Шли под руку и забавлялись — к «революции» явно примешивался флирт.

VIII

Марселю война принесла не снаряды, но золото. Он обратился в огромный постоялый двор. Видны только невольные гости: негры, арабы, англичане, малайцы, сербы, индусы, аннамиты, русские. В трамваях, на вокзалах — объявления на семи языках. Впрочем, все понимают друг друга, разговаривая руками.

Я приехал ночью и с трудом отыскал комнату. Все частные дома обратились в гостиницы. Хозяйка спокойно, деловито объявила:

— Комната — пять франков. Если хотите подушку — еще двадцать су. Если хотите, чтобы я спала с вами — еще луи.

Это обыкновенная добродетельная мещанка. Но «теперь война» — все зарабатывают, не она одна. С мадагаскарцами или с тонкинцами — не все ли равно?

Прохожу по улицам... Я никогда не видел города, где бы столько торговали. Магазины, лавки, палатки, лотки. Торгуют снедью и драгоценностями, щитами, «предохраняющими от пуль», и непристойными карточками. Торгуют все, кто умеет считать монеты. В каждом доме ресторан, или бар, или притон.

Здесь же работают пленные — немцы, венгры.

А транспорты подвозят все новых и новых солдат из пяти частей света. Если хотите — изучайте этнографию, языки всего мира, костюмы дикарей, коллекцию монет, или—не изучайте ничего, бегите скорей из Марселя! Отсюда один путь— на север, и этих людей привезли на убой. Марсель—последняя остановка перед смертью: покупайте бусы, пейте ром, тащите девок, завтра — конец! Земля Пикардии уснащается новыми трупами, слезы льются в Соммалии или в Сербии, а монеты всего света весело звенят в кошельке Марселя.

Ночь. Узкая уличка, на которой ютятся притоны. При свете фонаря я вижу полуодетую женщину с припухшим тупым лицом. За ней скачет на костылях одноногий негр— солдат. Женщина показывает пять пальцев и кричит:

— Пять су! Слышишь, пять су!

Но негр, не понимая, сопит и все скачет за ней, страшный, похожий на огромную обезьяну.

Высоко на холме над Марселем, при свете луны, блестит золотая статуя богоматери. Когда-то здесь стояла, прекрасная в своей наивности, деревянная статуя. Ее поставили рыбаки, и она охраняла их мирные челны. Теперь пышное и уродливое изображение смотрит на гостей и на хозяев, на публичные дома и на фабрики снарядов, на дредноуты и на фабрики с черными, желтыми, белыми рабами,

IX

Старик Лян — контрабандист. До войны он перевозил в Испанию сукно и шелк, теперь переправляет немцев и дезертиров. Рассказывает добрым друзьям:

— Позавчера ко мне пришел один. Я сразу понял — это дело важное. Ну, с дезертиров я беру по девяносто франков гуртом, а с него пятьсот запросил. Шпион, и документ я на себе держал. Ночью по «Медвежьей тропе» перешли... Все хорошо обошлось...

Потом говорит о политике. Он — исступленный патриот:

— «Parbleu», когда же побьют этих бошей? У меня все четыре сына на фронте. Я бы сам хоть и стар, а пошел бы. Только боюсь дело оставить. Забудут, потом старых клиентов не разыщешь. Но ребята постараются за меня...

Он любит сыновей и Францию. Он — патриот. Когда я говорю это, мне не верят, считают старого Ляна лжецом или кретином. Он—только один из многих, истинный «тыловик». Он хочет, конечно, чтобы Франция победила, но больше всего хочет нажить тысячу-другую.

X

Деревня Туретт. Кругом горы. Где-то там, за белыми Альпами, война. Правда, сорок два туреттских на фронте, четырнадцать убиты. Но все же о войне здесь думают, как о чем-то очень далеком, не настоящем, или, вернее, о ней вообще мало думают. На виноград в этом году нашла болезнь — вот свое подлинное и важное. Приезжают солдаты в отпуск, рассказывают страшные небылицы, показывают пули и гранаты. Их слушают как артистов, которые заглядывают на ярмарку в соседнее местечко.

В кабачке собираются «политики» — сам кабатчик, старый сторож мерии и два фермера. Кабатчик — «патриот».

Он гордо показывает всем свидетельство в раме: «Гражданин Лебеф обменял 460 франков золотом на кредитные билеты». Он назвал своего сына Жоффром, а собаку — «митральезой». Он—оптимист и за рюмкой «мара» любит помечтать:

— К нам присоединится Китай... Русские скоро займут Вену... Мы наложим на них контрибуцию...

— Сколько?—спрашивает фермер.

— Миллион, нет, миллион мало, тогда... миллиард,— и от величия этого слова кабатчик замирает.

Сторож мерии — ветеран, переживший разгром семидесятого года. Он—пессимист. С того памятного дня, когда ему приказали барабанным боем возвестить о мобилизации, он вечно чует что-то недоброе. Главное — кругом предательство:

— Жоффр нас предает... Англичане хотят отнять у нас Кале... Социалисты продались «бошам»... Я подозреваю начальника станции Грасса — не шпион ли он?..

Так по вечерам они пьют вино, читают «Petit Marseillais» и решают мировые проблемы.

А женщины только об одном спрашивают: «Что в газетах насчет мира не сказано?» Ждут почтальона. Иногда напрасно караулят долгие недели. А порой приносят, вместо писем, пакет меру с кружочком внутри. Все знают — это извещение о смерти и «медаль» с номером, которая была на руке убитого. Мера нет — уехал в город. Ждут— чей? Лотерея. Потом плачут. Потом стригут виноград и собирают тыквы. Пустые места мало-по-малу заполняются, как зарастает травой свеже-вырытая могила. Одна только не может пережить горя — это старая вдова Клон. С тех пор, как получилась «медаль» ее сына, она перестала с кем-либо говорить, не ездит в город и запустила своих коз. Но она всегда слыла за «странную» — не любила бывать

на свадьбах и ходила каждый день в церковь (а это полагается делать только по воскресеньям.) Сторож мерии даже как-то высказал подозрение - не шпионка ли она?

Так живут изо дня в день. Война могла уничтожить Реймский собор и поэта Пеги, она может обратить в прах Германскую империю или Французскую республику. Но много раз смертный ветер блуждал по Европе, а в Туретт крестьяне разводили виноград и доили коз. Война? — да, конечно, но в Туретт—болезнь винограда, в Туретт нет войны.

БУДНИ

I

ВСЕ, О ЧЕМ ПИШУТ,— это со стороны, сверху или после. Сейчас не смерть, не жертва—грязь, одна только желтая липкая грязь. Третью неделю—дождь. Надо ходить, лежать, спать в этой холодной хляби. Гляжу на солдат и вспоминаю, как я еще ребенком читал об отступлении наполеоновских армий из России. На одном женская кацавейка, на другом поверх шинели вязаный платок, на третьем мешок из-под угля. Всего живописнее ноги—обмотки, на обмотках разбухшие сапоги, рыжие гетры и поверх всего огромные пузыри. А дождь все идет, идет. Сколько дней не раздевались! Промокшая, нагретая телом, одежда пахнет псиной. Кусают насекомые. Скучно, надоело.

Трах!—кинули гранату. Сегодня тихо. Вот обед. Два солдата несут в ведрах остывший суп, другие мясо и вино. В миски течет дождевая вода.

— Какой сегодня противный «жю» (суп).

— А почты не было.

— Вот уже шестой день: дорогу в Пон обстреливают.

Вот и сумерки—ранние ноябрьские сумерки. Начинается писк и суета крыс. Матье—молодец, он их здорово бьет дубиной...

Хорошо бы сейчас раздеться, умыться и лечь в чистую кровать, чтобы простыни были белые и жгли бы тело... Можно подложить полено и эту рогожу. А навес плохой—все равно течет. Бух, бух, бух... Говорят, где-то есть жизнь... Вряд ли!..

II

Ползем на животе к передовому посту, вязнем в хлипкой грязи, с испражнениями и дохлыми крысами. Вот здесь можно привстать за бугорком. В двадцати шагах отсюда неприятельский пост. Тихо. Вдруг оттуда доносится голос, и кто-то по-немецки ругается:

— А, чорт! Ну и грязь!

Страшно думать, что рядом с нами живут изо дня в день такие же люди, только в круглых шапочках; вязнут в глине, как мы, бьют палками крыс, ждут писем из дома, и что это и есть «враги»...

Когда возле Нуайона я ходил по траншеям, оставленным немцами, в которых они просидели два года, меня больше всего волновала эта общность военного быта. Такие же коробки из-под консервов—только с другими надписями; такие же солдатские открытки, нацарапанные карандашом слова, которых напрасно ждут теперь в далеких деревушках—только другие флажки на обороте; такие же кресты над оставшимися—только имена другие.

III

В Париже теперь идут в театры глядеть патриотические пьесы, в салонах поэты читают военные стихи, дамы щебечут о варварстве немцев, а в кафе почтенные завсегдатаи критикуют стратегию Петэна.

Солдаты только что пришли с позиций, почистились. Во всем местечке это единственное кафе; были другие, но разрушены. В маленькой комнате мы обедаем. За стеной дождь, грохот пушек и ночь. Весело трещит лампа... Скатерть—настоящая белая скатерть! Дессерт—бисквиты. Кому придет в голову вспомнить, что мы на войне? После кофе—

маленький концерт. Долговязый, изможденный Коле, углекоп из Вилля, поет пикардийские песни. А вот Брио—толстяк, чистая баба, пастух оверньяк — один раз он был в Лиможе в театре и теперь изображает балерину. Это всех увлекает — танцуют друг с другом: дам нет, звали старую служанку, да она занята. Хорошо, тепло, светло, весело. Брио, посмеиваясь, спрашивает меня:

— Здорово! Ну, чем хуже Парижа?

Я серьезно отвечаю ему:

— Лучше.

IV

— Который час?

— Половина шестого.

— Чорт! Ведь в восемь поезд из Шалона.

Этот разговор происходит не в буфете, но в воронке, вырытой снарядом, в полуверсте от немецких окопов. Мы спешим, путаемся по траншеям и по проходам.

— Не зажигайте спички, оттуда видно.

— Теперь свернем направо—здесь часто падают...

Грязь. Потом грузовик. Уезжаем. Останавливаемся. Нельзя зажигать фонарей. Какая-то деревушка. Штаб. Снова едем. Уж скоро восемь. Еле поспели. Вваливаемся усталые, грязные в вагон-ресторан. На столиках—цветы, и ярко горят электрические лампы. От тепла, от света, от людского говора—одуреваем. Все вместе за столиками—от дивизионного генерала до нашего кашевара Булю, который решил ради такого события истратить десять франков. Одиннадцать часов. За потными стеклами реют огни Парижа. В шесть мы еще укрывались от снарядов. Булю купил за франк сигару и наслаждается. Маленький Кири изучает электрический вентилятор. Вот дама в углу с офицером. Как давно мы не видели дам, да еще в большой шляпе!..

Это рай или болото? «Скажи, Булю, отчего сердце, увидев смерть, не забыло уюта. Отчего, до последней минуты, привязано оно тысячами нитей к этим пустым, ненужным и трижды дорогим вещам?»

V

Кабачок. Солдаты зашли выпить по рюмочке. С позиций — на отдых. Кряхтят, разгружаются. Входит дочь хозяина, молоденькая, смазливая девушка. Общее волнение— первая женщина! Киро вынимает маленькое зеркальце и оправляет усы. Дебэ жалуется: «И негде подбриться». Ругань исчезла. Я никогда не думал, что простоватый «Жан-Жан» может так изысканно выражаться. А Кло—с головой красной и круглой, похожей на бильярдный шар, и с кривыми, как у таксы, ногами—юлит возле девушки, отвешивая маркизовы поклоны. Он весь в глине, навьюченный—винтовка, сапоги, сумка. Девушка, безразличная, считает сдачу—так ведь каждый день...

VI

Сейчас мимо проехал автобус с артиллеристами. Его перекрасили в защитный цвет, но сзади еще осталась вывеска: «Odeon Clichy». Сколько раз в Париже я ездил в нем!.. Дождь, глина, солдаты. Стреляют—вчера, сегодня, всегда...

Я вижу милый, старенький Одеон, книжную лавку под арками, веселых студентов в бархатных беретах со смешливыми подругами.

«Вы купили «Mercure de France», хорошие стихи Жамма»...

Спешу. Автобус. Сена. Опера «Тоска». Какой-то старичок продает игрушку—«петухи дерутся». Кафе. Сумерки. Жизнь...

Было ли это когда-нибудь? Не знаю. Дождь. Стемнело. Еще громче ухают пушки.

VII

Он только что вылез из сапы и покрыт землей, засохшей, серой, похожей на слоновью шкуру.

— Они хотят устроить камуфлет.

Как-то роет в десяти шагах от него. Тяжело, устал. Нельзя даже кашлянуть—услышат. Темно. Служба.

Вот вылез—и сейчас назад нужно. Только одним глазком на солнце взглянуть... Третьего дня из другой команды сапера засыпало, так и не нашли.

— Скажите, вы ведь из Парижа? Да? Вот хорошо! Вы бываете на концертах «Lamoureux»? Что там теперь играют? Знаете, люблю, когда лежишь в этой норе... тишина... так представить себе: вот исполняют Равеля...

— Ну, прощайте.

Он исчезает в узкой черной дыре.

VIII

Сидим у входа в землянку в Аргонском лесу. Рыжеют клены, золотая ольха трепещет, и внизу, в овраге—осень бродит, шурша листьями. Лево говорит задумчиво, медленно:

— Война многое открыла нам. Жили в Париже, ездили по праздникам в Севр, а на каникулы в Дьепп. Здесь мы впервые увидали природу. Раньше я видел пейзажи и читал стихи о великолепных закатах. Я думал, что это декорация, а главное—наши мысли, страсти, дела. Вот лес умирает, вот наша смерть... Кто, кроме природы, мог научить меня не верить в смерть—разгадать, что это круг? Я вижу весну, я слышу ее голоса там—под мертвыми листьями, я чую—она придет, я знаю—смерти нет... И что после этого пулемет? Здесь извечное, самое важное, здесь—все. Когда год тому назад я пришел сюда впервые, я думал: победа, мы,

«боши», государство, идеал. Но ведь это все преходящее, а опадающий дуб, а подснежник, а солнце — это всегда было и будет. И мы живем, как они. Господи, как ничтожна победа Франции и Германии—сто тысяч побед, поражений, перекроенных карт—перед этой тайной, перед смертью какого-нибудь Жана Дюрана, или перед тем, что где-то в деревне, у жены его Мари, родился другой маленький Жан...

IX

Что еще сказать? Скучно... Поезд остановился, дальше ехать нельзя. Ночь, ветер, сырой ноябрьский ветер. Куда итти? Холодно, ни одного огонька вокруг, где-то ворчат пушки. Попал в большую лужу, не лужа—болото целое, увязнешь еще. Где же нас высадили? Город? деревня? «Non de chien!» Кто-то из тьмы вежливо отвечает:

— Вы совершенно правы.

Незнакомец, тоже залезши по колена в грязь, освещает электрическим фонариком какие-то развалины. Он говорит:

— Хорошая вещь карманный фонарик. Не хотите ли купить? Три франка.

Наконец дом «on loge a pied et a cheval». Каморка. Холодно. Пахнет погребом и мышами. Быстро раздеваюсь. Сплю... Стук.

— Кто там?

— Вылезайте скорее! Надо в погреб, начался обстрел.

Дрожу, кое-как одеваюсь. Внизу вода, огромные чаны, бочки, крысиный писк и мрачное общество: хозяйка в нижней юбке, старенький аббат в развевающейся сутане, два солдата, мой спутник. Это—коммивояжер фабрики карманных лампочек. Он страшно трусит:

— Если бы я знал, я не поехал бы. Я в первый раз слышу это. Какой ужас!

— Вот в Сан-Поле вчера попало в дом и в погребе шесть человек завалило,—безразлично информирует всех первый солдат.

Комми даже стонет:

— О! О!.. Но я ведь получаю с каждой проданной лампочки всего 85 сантимов. Можно ли рисковать жизнью?..

Обстрел уменьшается. Солдат—другой, веселый—с визгом пальцем тычет в бок хозяйке. Это значит—ухаживает. Аббат бормочет: «Ave Maria». Комми уговаривает всех по-очереди:

— Купите фонарик. По случаю событий—со скидкой: всего два франка пятьдесят. Какой свет!..

И все жмурятся от неожиданных лучей, пущенных прямо в глаза.

Ну, теперь можно итти спать. Кидаюсь под одеяло. Холодно. Сплю. И вновь—неистовый грохот, голоса, погреб и то же общество. Только веселый солдат и хозяйка, полуодетые, растерянно переглядываются, да аббат не успел напялить рясу и покрылся белым одеялом, будто саваном. Бух! Бух! Хмурый солдат размышляет:

— Очень близко. На прошлой неделе, в Аррасе, снаряд в дом попал—одиннадцать раненых, четыре убито...

— О!.. И все это за 85 сантимов,—стонет комми.

— Смерть—великое таинство,—вдруг торжественно заявляет аббат.

— Только... Если 6 на полчаса позже,—ухмыляется солдат веселый.

Как согреться? Хочется спать. Вода, крысы. Все равно—иду наверх. Хозяйка цепляется за мой пиджак, кричит:

— Ради Бога, monsieur!.. Пожалейте меня. Наверху вас убьют. С меня возьмут 500 франков штрафа. Мой муж на фронте, я бедная женщина... Не обижайте меня.

— Купите фонарик,—пристает ко мне комми.—Для вас, только для вас: 2 франка. Ведь здесь это необходимая вещь.

— Отстаньте!

Я ухожу.

— Пожалейте меня!.. Убьют!.. 500 франков!

— Смерть—величайшее таинство,—опять заявляет аббат.

Хозяйка с солдатиком ушли за бочки. Там вода, крысы. Семь часов. Светает. Пушки замолкли. Только нельзя согреться. Не помогает даже рыжая кислая водица, пахнущая грязью, которую хозяйка называет кофеем. Иду на станцию. Никого кругом. Когда поезд? Сторож неопределенно и загадочно отвечает:

— Может быть сегодня, может быть скоро...

Засыпаю на скамье. Просыпаюсь—кто-то надо мной. Ах, это проклятый комми!

— Как вы себя чувствуете? У меня до сих пор сердцебиение... И подумать, что за все это 80 даже 70 сантимов со штуки! Купите фонарик, отдам, по секрету, за 1 ф. 80, за 3 пятьдесят пара. Ведь без этого не обойдетесь. Сегодня наверное все начнется сначала...

Господи! До чего надоел он мне!.. Все тот же мокрый ветер. Поезда нет и, кажется, никогда не будет. Сегодня понедельник, завтра вторник. Что еще сказать? Скучно... Скучно...

«ДУША» ВОЙНЫ

I

РЕНЭ — ЕДИНСТВЕННЫЙ СЫН, баловень m-me де-Бери, старомодной дамы, которая нас смешит своими платьями и буффами времен Второй империи. С младенчества m-me де-Бери берегла сына, как спичку на ветру. Учила по какой-то английской системе, возила на курорты, и вышел Ренэ бледненьким, щуплым. Длинношеий птенчик, на худом личике огромные недоуменные глаза. Мечтатель, нараспев тоненьким голоском читает Мюссэ и Ламартина, товарищей нет, тайно влюблен в m-lle Готуа, пишет сантиментальные элегии. Словом — все, как полагается, и вдруг — война.

Бедный Ренэ в мундире. Еще тоньше шея под синим воротником, еще больше глаза под огромной, слезающей на уши каской. M-me де-Бери даже не плачет, она просто не понимает: Ренэ, ее Ренэ — солдат!.. Она шлет ему в казармы ночные туфли и пульверизатор: там плохой воздух, надо побрызгать «Лесной водой»...

Идут месяцы. Ренэ на фронте. M-me де-Бери с утра до вечера читает газеты, караулит почтальона и все время на часы глядит—будто ждет запоздавшего сына из школы.

Но вот Ренэ приехал в отпуск. Он — все такой же, может быть слегка возмужал да загорел. По-прежнему застенчив, как девушка, и когда мать говорит: «Ты мой красавец»,— густо краснеет. Рассказывает о войне: «Тяжело»... Но не жалуется.

— Скоро бошей перебьют.

— Ренэ, но ведь они тоже люди, у них дома матери остались, — вздыхает сантиментально m-me де-Бери.

— Неправда!

Лицо Ренэ вдруг становится резким, беспощадным. Говорит уже не матери, не мне, а в пространство, говорит быстро — будто боится, что не успеет высказать самого главного.

— Я ненавижу их! Вы спросите: за что? Но ведь вы не удивляетесь, что я люблю маму. За что? Не за то, что она красивая, или умная, или добрая, а за то, что она — мама. Или... (Ренэ слегка запнулся) m-lle Готуа. Вы ведь знаете, что любовь слепая, вот и ненависть — слепа. Я их ненавижу за то, что они разрушили Реймс; за то, что они хотят взять Верден; за то, что они его зовут «Вердун». За то, что они немцы. Поняли? Вы, может быть, презираете мою слепоту? Вы знаете, что все равны и прочее? А я не верю вам. Вы тепленький. Вы слишком хорошо видите и поэтому вы слепы. Вы не ошибаетесь — и в этом ваша главная ошибка.

II

Это был молоденький круглолицый румяный англичанин. До войны он занимался живописью и работал над книгой о мастерах треченто. Потом—офицер артиллерист, молчаливо делал свое дело, а на отдыхе смешил товарищей, показывая как перелетает монета из чужого кармана и прочие наивные фокусы, способные увлечь только англичан. Никогда не спорил и газет не читал.

Когда искали добровольцев для «танков» — он пошел одним из первых. Товарищи отговаривали: «Опасно, немцы их ловко потрошат; что за охота издохнуть в этой коробке для омаров?» Не возражал; на прощанье показал, как угадать задуманную карту в колоде.

В апрельское утро возле его «танка» мы сидели, курили трубки и беседовали.

Грозились пушки: мы знали, что через три часа—атака. Но солнце грело спины, и мы — человек пять нас было— увлеклись и спорили, будто встретились в Парижском кафе. О чем? О войне, о колониальной политике Англии и о русской революции, о христианской этике и об оправдании убийства. А он молчал. Только прощаясь, забираясь в чрево своего стального левиафана, отчетливо и громко сказал:

— Hi faut tuer beaucoup de boches.

Назад он не вернулся. Но перед смертью исполнил свое страшное и простое назначение.

III

У речки Урк, близ пыльной дороги, — могила поэта Шарля Пеги. Он был убит утром 5 сентября 1914 г. в первый день Марнской битвы. Солдаты боялись выйти из канавы. Тогда он выскочил, перебежал дорогу и упал. «Поэт Пеги, как жалко!»—рассеянно говорили люди, просмотрев за кофе газетные сообщения. Смысла его смерти не разгадали. Но на последний суд война принесет не только черепа и «оранжевые книги», не только белену ненависти и дурман злобы, а и дивные цветы, которые могли расцвести лишь на поле брани.

Да, конечно, Пеги был слеп, он не видел того, что творилось кругом, но только потому, что видел далекое небо и сокровенное дно человеческой души. Он верил, что Франция подняла меч во имя господне; что она, как древле Иоанна д'Арк, взошла на искупительный костер. Франция палаты депутатов и жадных рантье мнилась ему подвижницей, и в руки с набитым кошельком он вкладывал мученический крест. Смысл войны был для него не

в победе, но в жертве. Он надеялся, что в смертный час воскреснет духом земля. Он умер на заре войны и, может быть, это — милосердие судьбы.

IV

Поздно ночью на улице встретился я со своим приятелем, молодым филологом Л.

— Вы в штатском?

— Как видите. И не в отпуску. Я сейчас иду на Лионский вокзал. В два часа ночи поезд на Женеву. Вы не понимаете? Я — дезертир.

Долго шли мы по пустым улицам. Молчали. Только прощаясь, он заговорил:

— Вы не спешите? Посидим здесь немного. Я вам хочу рассказать... Только это очень трудно. Я никому еще не говорил. Вы думаете, что я удираю от смерти? Я пережил Верден. Я не трус. И теперь смерть мне кажется самым легким исходом. Я долго колебался, что проще — фальшивый паспорт или пулю в лоб? Я не умереть боюсь, но так жить. Не знаю, поймете ли вы. Вот матери я сегодня сказал: «Не хочу больше итти на смерть»,—солгал—это она поняла. Я не христианин, не моралист, я просто человек. Но я не могу убивать. Это грех. Против кого? Против чего? Это вы разбирайте, а я не могу. Да, конечно, я грешил и прежде. Но тогда я отвечал за свои поступки. Может быть, я способен был убить кого-нибудь, чтобы стащить деньги или из ревности. Но я бы знал, что это нельзя, на этом запрет. И если б я пошел к комиссару, меня связали бы... Если бы я вышел на Place de la Concorde и завопил: «Я—убийца»,—все с ужасом отшатнулись бы от меня. А теперь, если я закричу: «Я убил десять, сто людей», — все засмеются, порадуются, пожалуй

вторую медаль мне подарят. У меня отняли мою совесть, сняли с меня ответственность и приказали грешить. Этого я не могу.

V

С Роже я познакомился года три тому назад, путешествуя по Голландии. Он обращал на себя внимание пустыми, отгоревшими глазами на еще молодом лице. Разговорились. Глядя на тоскливые плоские поля, он вспомнил русские степи—был в России. Еще говорил о соборе в Брюгге и о поэзии Жамма, о русских иконах и о музыке Равеля, говорил умно и занятно, но все слова были мертвые, безразличные, нудные.

— Я объездил полсвета от Японии до Ирландии. Но всюду одно и то же. Отели, лакеи, пустая комната и ночь—долгая ночь. Мне 23 года, и вы усмехнетесь, если я искренно и прямо скажу вам — надоело. От себя не убежишь. В поэзии это именуется «ennuie de vivre». Еще такие записочки оставляют: «В моей смерти прошу никого не винить». Как вам объяснить это чувство? В первый раз я его узнал, когда мне было восемь лет. Мои именины. Надарили мне игрушек — среди них одну помню: клоун нагибается и кидает другому клоуну в шляпу серебряный шарик, второй — третьему, третий — снова первому, и так без конца. Потом гости разошлись. Я остался один, не играл, не радовался, вдруг страшно скучно стало. А клоуны все перекидывали шарики. Я их бил, ломал, и кричал. Прибежали, не поняли. Уложили спать: устал, много впечатлений и прочее. Прошло. Рос—обыкновенный мальчик, только вялый, безразличный. В 18 лет я думал, что воскрес. Влюбился в одну даму, была она лет на десять старше меня. Я загорелся весь. Выходил утром на бульвар и думал: вот мальчишки играют в разбойников, каштаны,

дрозды, вечером я ее увижу, как хорошо жить! Раз остались вдвоем — не выдержал. Путаясь, начал лопотать о своей любви. Засмеялась.

— Ну, поцелуй меня.

А через минуту шептала:

— Осторожно только, отстегни эту брошку.

И вот внезапно вернулось ко мне то забытое с детства чувство неизъяснимой скуки. Я бессмысленно глядел на блестящие бриллиантики брошки. Дама презрительно сказала:

— Вы еще мальчишка.

На этот раз не прошло. Больше я ничего не хотел. Доктора говорили: «неврастения, меланхолия», еще какие-то латинские слова. Я путешествую по инерции, беру билеты, сажусь в купэ, вылезаю, ем, сплю. Мне ничего не хочется...

Я больше не слушал Роже. Мы подъезжали к Гельдеру. Из ночи вспыхивали огни маяка. Почему-то я вспомнил клоуна и брошку. Мне жутко было, точно со мной на палубе не человек, а говорящий труп.

Расставшись с ними, я шел и радовался острому морскому ветру, стуку деревянных сабо, смеху девушек, тащивших красные шары сыра.

Сегодня утром я зашел на перевязочный пункт у Вьени в Аргоннах. Раненых осматривали и отправляли дальше в тыл. Среди них я увидел ком глины на носилках. Не было видно ни одежды, ни лица, только раздавался громкий хрип.

— Сапер... Воспаление легких... Нельзя трогать, все равно к вечеру кончится, — сказал фельдшер.

Вдруг из-под чешуи глины раздался громкий внятный стон:

— Спасите меня!.. Дайте мне что-нибудь!.. Я так хочу жить!..

Я вздрогнул от голоса. Подошел к койке, вгляделся в покрытое грязью, заросшее бородой лицо. Это был Роже.

VI

Солдат смеется:

— Лежим, глядим: выбегают из окопов и наземь... Пулеметы работают. Да все руки закидывают, будто танцуют. Как мы смеялись!..

— Смеялись?

— А конечно. Смешно глядеть.

— Ведь умирают.

Смеется. Потом прибавляет:

— Умирают? Je m'en fiche. Наплевать...

Иду. Надо перейти окоп. Чей-то труп. И переступив уж, замечаю — ведь я его ногой отпихнул. Смерть? Меня убьют? Умер самый близкий мне человек? Все человечество погибнет? Да, конечно, но видеть надоело...

Ничего в этом нет жуткого, великого, таинственного, только забавно вскинутые руки да труп, который мешает ходить. И, говоря откровенно, наплевать... «Je m'en fiche».

1915 — 1919

Париж — Киев

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие	7
От автора	13
Лик войны	17
Война и жизнь	24
Города и люди	35
Трусость и храбрость	44
Жестокость и милосердие	55
Женщина	64
Религия	75
«Черные»	79
Русские во Франции	87
Тыл	95
Будни	108
Душа войны	116

6052

АКЦИОНЕРНОЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

„ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА“ (ЗИФ)

Москва, центр, Ильинка, 15 (Правление)
Москва, центр, Лубянский Пассаж, пом. 25-30 (Библиотечн. коллект.)
Ленинград, проспект 25 Октября, 13 (Распределитель)
Харьков, Горяиновский пер., Дворец Труда, маг. 15.

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЙ И ЧИТАЕМЫЙ РОМАН

ИЛЬИ ЭРЕНБУРГА

„ЛЮБОВЬ ЖАННЫ НЕЙ“

400 стр. Цена 2 р. 50 к.

Тема романа—побеждающая смерть, преображающая жизнь—огромная любовь Жанны Ней и коммуниста Андрея Лобова. Роман развертывается на фоне революционной России и буржуазно-капиталистического Запада. На лучших страницах романа даны жуткие картины развала и гибели буржуазной Франции,—отчетливо очерчены типичные фигуры разнообразных обитателей Парижа.